

18+

ЕВГЕНИЙ ИМИШ



НИКША

роман

Евгений Имиш

Никша. Роман

«Издательские решения»

Имиш Е.

Никша. Роман / Е. Имиш — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-519703-0

Роман охватывает семь лет пребывания юного героя в тюрьме. Периоды взросления, обучения, дружбы нарисованы подробно, со всеми нелепыми мелочами и глупостями, присущими юности. Соткан роман из баек, смешных историй, живописных картин уродливого быта и, что несомненно является его основным достоинством, огромного количества портретов людей. Галерея характеров — декорация, в которой происходит изменение героя. Книга содержит нецензурную брань.

ISBN 978-5-00-519703-0

© Имиш Е.
© Издательские решения

Содержание

Никша	6
Глава I	7
Глава II	21
Глава III	39
Глава IV	47
Конец ознакомительного фрагмента.	59

Никша Роман

Евгений Имиш

© Евгений Имиш, 2021

ISBN 978-5-0051-9703-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Никша Роман

Глава I

Порядок перемещений таков: сначала ты сидишь в отделении милиции, затем после предварительных дознаний тебя переводят в КПЗ. Оттуда уже в тюрьму. В КПЗ я помню немного. Лежали в рядок на деревянном настиле человек пять, в полутьме, и почти не общались.

Все сейчас вспоминается довольно скудно, только лохмотья сокамерников, постоянно падающие штаны (ремень и шнурки забирают) и редкие посещения следователя. Помню, как я хотел выйти оттуда хоть на час, хоть на сколько, чтобы исчезнуть, скрыться от этого ужаса. Пожалуй, если призадуматься, я во всей жизни ничего так не желал, но следователь, которого я пытался упросить заменить меру пресечения, скорее всего это чувствовал или знал, сразу отчислив меня к разряду знакомых ему по опыту неутомимых беглецов. Помню, что он меня совсем не слушал, а только заполнял бумажки.

Кто был этот человек? Не помню ни лица, ни голоса, ничего.

Через час окажусь в тюрьме.

Автозек, разделенный решетками и листами железа на четыре помещения. Две клетки для нас, коридорчик для конвоира и еще небольшое помещение для одного узника, «стакан».

Сначала две клетки заполнили нами, может быть, пятнадцатью мужиками, и затем отдельной программой по коридорчику в «стакан» прошла девушка. Этот проход сопровождался улюлюканьем и гоготом, и ведь надо же, я помню, как она входила и как выходила и ее кривую усмешку и брошенный на нас насмешливый взгляд. Всегда и везде мне мерещилась возможность знакомства, глупость какая-то, но, даже будучи зажатым в клетке кучей народа, и увидев мельком один силуэт, я помню, что в голове моей пробежали какие-то надежды, какие-то грезы, и не о свободе.

Пока ехали, самые горластые пытались завести с ней разговор. Спрашивали, как зовут, за что попала, хвастались осведомленностью: «Что, красавица, в Кошкин дом?» («Кошкин дом» – это женское отделение в Бутырке). Но всю дорогу из «стакана» не донеслось ни звука.

Бутырка меня поразила. Тогда я уже слышал что-то про Екатерининские конюшни, про казармы, про сбежавшего Дзержинского, но всего этого можно было и не знать, чтобы почувствовать несовременный размах. Мне показалась она огромной, и по общему плану, по только угадываемому массиву было понятно, что здесь неимоверно толстые стены. Сборка – это первый этаж тюрьмы – была вся одно пространство, как зал ожидания на вокзале или в аэропорту, и лишь по периметру маленькие двери бесчисленных «стаканов», транзиток, служебных помещений. К нашей партии присоединились еще такие же группы с разных районов Москвы, и мы уже целой колонной с баулами и сумками шли сквозь этот «зал ожидания».

Вот ненавязчивое начало одной истории. Нас человек пятьдесят в транзитной камере, и мы ждем разных предварительных процедур: распределений, оформлений и так далее. Кто чем занимается, спят на баулах, разговаривают. Я сижу, тихонечко боюсь, собираюсь с силами, делаю, так сказать, ревизию своих физических возможностей, потому что мне, тогда восемнадцатилетнему хулигану, казалось, что меня привезли на «бой быков», что мне предстоит много драться, что я должен быть диким и злым и тогда со мной не произойдет тех мерзостей, о которых в своем дворе наслышан каждый такой парень, как я. И таких, как я, сидящих в засаде молодых ребят, наверное, больше половины. Но были и другие. Зрелые или старые люди, попавшие сюда не в первый раз, а может, и в первый, но в силу своего возраста относящиеся к происходящему по-житейски спокойно. Среди таких бывалых выделялся один усач, громогласный и очень общительный. Уже весь мирно переживающий свое несчастье этап знал, что он вернулся в «дом родной» и что от этого испытывает лихую, отчаянную радость. Бравата его слышна была издали, и я с восхищением наблюдал, как на другом конце камеры он организовал какую-то игру, громко подзадоривал всех и смеялся.

Процедуры, которые нас ожидали, все так или иначе видели в кино. Стрижка, взятие отпечатков пальцев, фотографирование с этой чудесной дощечкой наперевес, но вот «шмон», то есть обыск, каким я тогда его испытал, достоин отдельного описания.

Полсотни людей загнали в маленькое помещение с одним низко расположенным окошком. Из него высовывался язык конвейерной ленты, как у нас была в школьной столовой, и просвет над лентой был занавешен куском дерматина. Всем велели раздеваться догола, высыпать все из вещмешков и всю эту кучу шмоток положить на конвейер. Вещи, сваленные наспех, вперемежку, свои – чужие, исчезали за дерматином, и толпа голых подследственных с недоумением смотрела на это, гадая, как же потом всё это разобрать. Наконец последний преступник простился с последним носком, конвоир скомандовал: «Руки за голову. Бегом по коридору», и мы друг за другом побежали в обход таинственного чрева, поглотившего наши вещи. Пол был выстелен резиновыми ковриками, и мы весело шлепали по ним. В конце коридора, перед входом в такое же помещение, с другой стороны стоял еще один конвоир со своими командами: «Открыть рот. Присесть. Раздвинуть ягодичы. Следующий». Я не сказал, что все это происходило в какой-то нервной гонке. Конвоиры почему-то считали своим долгом злобно нас подгонять и, всячески нагонять страху, от этого и вещи вперемежку, и мы выглядели очень забавно. Помню перед собой чье-то тщедушное тельце, смешно выполняющее команды: в раскоряку, неуклюже, как лягушонок. Видимо, и я был похож на такого же лягушонка.

И все-таки самое смешное началось, когда мы собрались с другого конца конвейера и вещи, еще более перепутавшиеся, посыпались на пол.

Честно скажу, я не помню унижения. Помню удивление, которое сейчас бы я сформулировал так: Как ведь они знают, что целая толпа людей всего за несколько минут, выбирая вещи из сваленной кучи, в состоянии одеться – быстро, чётко, каждый в своё!?

Знают. Они много чего про нас знают.

В той, упомянутой мной транзитной камере было открыто окно, и была только одна решетка. Обычно перед решеткой стоят «реснички», это статичные жалюзи, из толстого железа, пропускающие лишь косые лучи солнца. Но там их не было, и из выходящего во внутренний двор окна можно было увидеть тюрьму, как бы со стороны. Это был мой предпоследний уже не свободный, но еще не искушенный взгляд со стороны.

Было темно, тюрьма была кругом, и из черных, ржавых ее окон доносились веселая музыка и хриплые крики, направленные на улицу: «Один, один, восемь», или «Два, один, два». «Говори», – отвечали из другого окна. «Давай маяк» – «Стоит. Гони», – потом минутное молчание и «Дома, дома. Расход». Прижавшись к решетке, я ничего не понимал и только завороченно смотрел на черную тюрьму.

Потом, конечно, для меня это стало обычным языком: цифры – номер камеры, которую вызывают, маяк – длинная палочка из свернутой бумаги с набалдашником из хлебного мякиша. Маяк выставляют за окно, чтобы из соседней камеры на него можно было набросить «коня», то есть веревку, сплетенную из ниток, с грузиком. Так между камерами наводились дороги, по которым гоняли малявы, другими словами, велась переписка. Все это стало потом привычным, но тогда я не мог поверить, что вижу это наяву.

И последний свой взгляд извне я помню в коридоре уже после шмона и прочих мероприятий, непосредственно перед распределением по камерам. Все той же измученной колонной мы шли вдоль ряда камерных дверей, («тормозов»), и конвоир изредка стучал по ним, требуя тишины. Оттуда раздавался дикий хохот, непонятные реплики, и у меня мороз бежал по коже. Через несколько минут я должен буду оказаться там среди этих нечеловеческих голосов, и мне представлялись отвратительные урки из самых страшных фильмов, какие я когда-либо видел.

На каждом повороте бесконечных бутырских лабиринтов наша колонна редела. Сопровождающий вызывал по двое, по трое, те называли свои статьи, а он им – номер камеры и передавал их этажным охранникам. Подошла моя очередь, и, направляясь к камере, я обнаружил, что уже знаю двух моих сокамерников. Один был молодой парень, фельдшер, и второй – тот самый бывалый усач, который так лихо выставлялся на сборке. Его звали Игорь.

Почему я попал на «спецы», я до сих пор не понимаю. Спецы – это маленькие камеры, человек на шесть, как в моем случае, где могли сидеть и рецидивисты и первоходы, кто угодно, если по оперативным соображениям круг общения на время следствия должен быть ограничен. Мое дело было простое, все в нем было ясно с первого же взгляда, однако я попал к людям, которых не следовало держать в общих камерах. Оказался в очень махровом окружении совершенно незаслуженно.

Замечательно помню, как передо мной предстали эти экстравагантные персонажи.

Спица, страшный до невозможности. Вместо головы у него был череп, обтянутый кожей. Сам очень сухой, очень сутулый, с паучьими движениями. Он встретил нас беззубой улыбкой, обращаясь к кому-то лежащему под одеялом: «Эй, пидор, вставай. У нас гости».

Мы смотрели с трепетом и отвращением на вылезавшего из-под одеяла человека. Мы подумали, что это настоящий пидор, и, когда он протягивал нам руку, не знали, что делать.

– Черт знает, что о нас подумают. Спица», – сонно проворчал он и представился: – Одесса. Вы его не слушайте, он сам пидор, вот и злится.

Одесса был в тельняшке, с интеллигентными замашками остроумный еврей лет сорока. Обращение было неожиданно вольное для тюрьмы, и мы сразу поняли, что имеем дело с серьезными людьми.

Был и еще один: парень неопределенного возраста, спортивный, с серым и беспокойным лицом психа – Малыш.

Одесса давал нам почитать свой «объебон» (обвинительное заключение). Это был огромный машинописный «кирпич», который я только пролистал. Я понял, что Одесса со своими подельниками переодевался в милиционера и грабил квартиры. Меня поразило количество эпизодов, всех, как один, похожих друг на друга.

Малыш рассказывал про свою извечную «войнушку». Его брали всегда с особой помпой, то есть перестрелка, вертолеты, оцепление. Казалось, что всю жизнь он только тем и занимался, что сидел, выходил и доставал оружие, давал бой ментам, и снова садился. Он был настоящий маньяк и психопат. В молодости он занимался самбо и иногда показывал мне разные приемы, сейчас я уверен, что он просто лапал меня, как девку. Однажды он предложил мне сыграть в карты на это классическое «просто так», Спица и Одесса напряженно следили за нами, и, когда я, не ведая, что происходит, стал соглашаться, вмешались: – Малыш, так не пойдет, это беспредел. Ты сначала объясни ему, что это.

Оказалось, что «просто так» по чудесной тюремной логике значило «жопа». В данном случае, конечно, моя, потому что я бы обязательно проиграл.

У нас с Малышом было одно общее занятие. Он нахватался разной медицинской информации, и готовился «косить» на пятиминутке (выездная психиатрическая комиссия). Вечерами он сажал меня напротив, и я, играя роль врача, задавал ему вопросы, на которые он согласно выбранному диагнозу отвечал. Он кривлялся, ёрничал, и, честно говоря, все это было неубедительно.

Спица, самая колоритная личность этой троицы, был каталой. По всей Бутырке от него прятались должники, и у него был заветный блокнотик, весь исписанный фамилиями и цифрами долга.

Как-то раз я был свидетелем забавной сцены, подтверждающей Спицин кураж и неуловимость. Выиграв очередную партию в нарды у Одессы, Спица похлопывал его по плечу и заносчиво говорил: «Ни в какую игру, Одесса, у меня выиграть нельзя».

Одессу это взбесило, он считал, что в карты, конечно: Спица собственно даже не играет, а исполняет, но в нарды, как бы он ни пыжился, а элемент, так называемого фарта остается, и поэтому рано или поздно Спица должен проиграть. «Давай, – предложил Одесса, – десять партий, и, если ты хоть одну проиграешь, то всё. Утёрся и нечего тут звенеть про свое непод-

ражаемое искусство». Спица согласился. Они играют, и уже партии через три Спица проигрывает. Одесса торжествует и сыплет насмешками. «Подожди, подожди, – Спица как бы пытается что-то понять. – Этого не может быть», – он озабоченно пересчитывает фишки, и оказывается, что у Одессы одной не хватает. Получилось, что Одесса выиграл меньшим количеством фишек, и Спица устроил по этому поводу целый скандал (шутя, конечно): мол, это надувательство, и что в приличном обществе и за такие штуки, ему давно бы брюхо вспороли.

Одесса только руками и развел: – Ну ты и лиса, Спица!
– Следи за ротом! – самодовольно оскалился Спица.

Вот продолжение истории про усатого балагура.

Где-то неделю Игорь играл в нарды с Малышом, всякий раз садясь под двусмысленные замечания Спицы и Одессы и их удивленные взгляды. На что они играли, было неизвестно, но пару раз я видел, что на «залепухи», то есть на приклеивание себе из бумаги носов и ушей. Все это было весело, и, по крайней мере, у нас, вновь прибывших, беспокойства не вызывало. Игорь был по-прежнему бодр и деловит. Рассказывал про свою предыдущую отсидку. В общем, вел себя на равных.

Камера, как я говорил, была маленькая, все компактно, посередине стол («дубок»), вокруг нары в два яруса. Около тормозов параша, занавешенная простыней.

Я спал над Малышом.

Вернее, в ту ночь я не спал, не привыкнув еще к тому, что в камере и днем и ночью горит свет. Подо мной о чем-то разговаривали Малыш и Игорь. Я прислушивался. Малыш требовал уплаты проигрыша, причем немедленно, потому что его якобы могли «выдернуть» хоть завтра и тогда ищи свищи. Меня поразило, как жизнеутверждающий бас Игоря превратился в кроткий, заикающийся басок, умоляющий об отсрочке.

А Малыш угрожал. Он говорил о расплате кровью, и что лучше бы Игорю пораскинуть мозгами. Надо сказать, на этот раз, в отличие от своих психиатрических тренировок, Малыш был убедителен. Я себе еще представляю, как он мог устрашающе выглядеть, учитывая его дикую физиономию. Игоря совсем уже не было слышно. Он что-то лепетал про вещи, про родственников, и даже по голосу можно было понять, что он окончательно раздавлен.

Вдруг Малыш переменился, я услышал интонации помягче и разобрал что-то типа «...никто не узнает... мы в расчете... тихонечко... быстро...», Затем раздалось последнее «не надо» Игоря, и они вдвоем направились на дальняк и спрятались за простынею.

Мне казалось, что все спят и я один свидетель происходящего. Через минуту я услышал чмоканье на всю камеру и характерные стоны Малыша, и хотя у меня не было сомнений по поводу происхождения этих звуков, все же не верилось.

Но еще удивительнее было то, что, когда все закончилось и Малыш с Игорем вышли из-за простыни, оказалось, что ни Спица, ни Одесса не спали. Они тут же поднялись и со своим неизменным радушием стали приветствовать новоявленную Иру, еще минуту назад бывшую

Игорем. Все это выглядело так, словно они всю ночь, притаившись, терпеливо ждали развязки. Я тоже приподнялся и, притворившись сонным, спросил, что случилось.

– Ничего, ничего, спи, не твое дело – сказал мне Спица, выделяя Игорю отдельную кружку.

Все было обтяпано, как по сценарию. На следующий и все последующие дни, притихнув и потупив взор, Игорь жил себе где-то на отшибе, как самый заурядный пидор, и эта перемена, казалось, не удивляла даже его самого.

У нас в камере не было радио. Оно полагалось заключенным, и мы многократно стучали в тормоза с криками «Радио давай!». Все безрезультатно. Наконец как-то в банный день мы вернулись из душа и, только за нами закрылись двери, Спица проделал пару птеродактилевых пассов и издал торжествующий крик. На нем была телогрейка на голое тело, и из-за пазухи он вытащил радио, появление которого в тех условиях выглядело настоящим волшебством. Он подсоединил его к торчащим из стены проводам, и сразу же нашу желтую пещеру залила динамичная музыка.

Помню, как Спица, это страшилище, этот тюремный дух, принялся танцевать посередине камеры. Танец этот был неподражаемый. Спица притоптывал на месте войлочными тапочками, на лице его расцвела беззубая улыбка, и руки ходили плавно, как в женских партиях танцев.

Но незабываемой фишкой было то, что при этом пальцы его были, как говорят, веером, то есть сложены в ту самую уголовную козу, какую обычно принято показывать.

Представление продолжалось минуты две. Закляцали тормоза, и вошел охранник. «Спица, ты доиграешься. В карцер захотел?» – он сорвал радио и ушел. Спица преувеличенно блатным тоном кричал ему вслед: «Начальник, ля буду, я ни при делах, оно здесь стоит, в натуре, какой день!»

Было понятно, что Спица украл радио по дороге из бани. Но, как и где он это сделал... увы.

Хотя на воле я и оставил девушку, все же, в свете этих событий, ни на какое продолжение не надеялся. Я уже благополучно забыл о ней, когда вызвавший меня следователь показал мне ее заявление на брак. Я только пожал плечами и, занятый совсем другими мыслями, дал свое согласие. Вернувшись в камеру, я не очень радостно похвастался своим новым товарищам тем, что меня еще любят девушки, не видя в этом ничего, кроме курьеза. Но Одесса, Малыш и Спица оживились, окружили меня и стали подбрасывать мне разные идейки, которые постепенно меня вдохновляли.

Дело в том, что на носу был Новый год, и теперь уже где-то рядом должно было состояться мое бракосочетание. Мои веселые сокамерники пытались мне внушить, что вся эта предпраздничная обстановка даёт мне шанс выйти на свободу, стоит только написать заявление с просьбой разрешить мне вступить в брак в нормальных условиях. Они говорили: Новый год,

свадьба, свадьба, Новый год, что я, мол, не преступник какой, а еще подследственный и что, мол, свадьба, да еще Новый год и что, мол, имею право жениться как честный человек, а заодно и Новый год справить.

В общем, они напрочь затуманили мне мозги, и я сел писать заявление. Часа два я писал под их диктовку, и за все это время ни один из них не раскололся. Я писал на имя начальника тюрьмы, взывал к человеческим чувствам, говорил о любви и семейных ценностях и ко всему старательно присобачил Новый год как всенародный праздник.

Вертухай, мельком бросив на заявление взгляд, видимо, привыкший к подобным проделкам, также остался невозмутим.

Лежу на своей «пальме» (это словечко, обозначающее верхний ярус, в ходу было много позже, на зоне), так вот, с пальмы расслабленно наблюдаю, как Спица учит фельдшера играть в покер. Карты у нас к тому времени отшмонали, и Спица учил покеру на доминошках. Видя, что наравне с фельдшером я вольным слушателем прошел вступительный курс, Спица предлагает сыграть втроем. Отчего не сыграть? Играем. Для интереса придумав играть на очки, отдаем партию за партией Спице весело и беззаботно. Счет переваливает за миллион в пользу Спицы, и нас, придурошных, это очень забавляет.

Одесса в это время спал и видимо, переворачиваясь с боку на бок, краем уха услышал эти шестизначные цифры очков, которые мы, как обезьяны, научившиеся разговаривать, то и дело гордо повторяли. Он резко поднялся и с ошалелым видом обратился к Спице: «Ты что делаешь. Спица?!» Спица не отвечал и улыбался так, как улыбается человек, сознательно делая что-то нехорошее.

– Да, не ожидал от тебя. Ну сдавай, – Одесса присоединился к игре с таким видом, что нас прямо бросило в пот. Мы с фельдшером смотрели друг на друга, медленно, понимая, что эти очки – все что угодно, но только не символические значки, обозначающие счет. Мы словно выходили из гипноза. Одесса стал отыгрываться за нас, и, так как мы были втроем против Спицы, и вместо карт были доминошки, дело пошло. Под гробовое молчание десятки и сотни тысячи очков возвращались в наши виртуальные карманы, а мы, растерянные, машинально перекладывали фишки и слушали команды Одессы.

Так продолжалось до глубокой ночи. Отыграть у Спицы все оказалось невозможно, и, когда стало ясно, что существует сумма выигрыша, которую перевалить не получится, все прекратили играть.

А сумма эта исчислялась в двести тысяч на нас с фельдшером, то есть по сто на брата. Атмосфера была страшно неловкая, никто ничего не спрашивал и не объяснял, все молча разошлись спать. Хотя Спица, мне кажется, был доволен. Но самое интересное, что и на следующий день наше положение не стало ясней. Спица отшучивался, но так, что сомнений в том, что мы ему должны, у нас не возникало. А вот сколько и когда расплата, это я узнал позже и не от Спицы.

Через какое-то время перевели фельдшера, а буквально через несколько дней и меня бросили в общую камеру. Когда я переходил, я был уверен, что эта история со Спицей мне еще аукнется, и жалел, что не выяснил все сразу. Думаю, что и фельдшер так же.

Когда этот парень вошел в камеру, я почему-то сразу понял, что это очередная жертва. Он был пугающе незащищен, не к месту интеллигентен, с мягкими, даже женственными манерами.

В общей камере все было не так, как на спецах. Там сидели первоходы, разношерстная толпа человек из шестидесяти, из которых две трети азартно и с ожесточением играли в «большую тюрьму». Если рассказанные мной истории на спецах можно было назвать беспределом, то здесь, выражаясь тем же языком, это было «за положняк».

Фокусник, так потом его прозвали, сидел со своим матрасом и ждал, пока ему в этой тридцатиместной «хате» найдут нары. Он робко отвечал на ритуальные вопросы: откуда, за что и как там, и я бьюсь об заклад, что в головах моих теперешних сокамерников складывались только две возможные характеристики: либо это педик, либо какой-то мутный, подсадной, кумовской, в общем, какая-то такая альтернатива. Его оставили в покое, как это обычно делали. До поры до времени ты ходишь никому не нужный, пока с кем-то не пересечешься, и этот кто-то не покажет всем пример, как нужно с тобой обращаться. Если же это отпущенное время ты потратил на завязывание знакомств, то внезапных и проверочных столкновений ты можешь избежать. Фокусник все это время потратил на неприкаянное хождение по камере в полном одиночестве.

На проходе и на пяточке – это свободное пространство перед дверями – постоянно было оживленное движение. Кто-то занимался спортом, кто-то сидел над тазиком, стирал. Во всей этой толкотне Фокусник слонялся, как пьяный по проезжей части. Со дня на день он должен был с кем-то столкнуться, показать себя и занять свое место под зарешетчатой лампочкой камеры. И день этот настал.

Дорожники, люди, которые налаживали уже описанные мной дороги, постоянно висели на окнах и, когда шла малява, истошным голосом орали в камеру: «Шнифт!». Шнифт – это глазок в двери, и крик этот означал, что нужно кому-нибудь находящемуся рядом закрыть его спиной, чтобы вертухай не мог ничего увидеть. Во время одной из таких команд Фокусник крутился рядом с тормозами и, не понимая, что означают эти вопли, никак не реагировал. Кто-то вместо него «встал на шнифт», грубо его оттолкнув. Он на кого-то наткнулся, и тот не менее грубо его обругал. Ко всему дорожник раздраженно заорал на всю камеру: «Ну, ты чё, лошина, оглох там что ль?»

Уверен, что абсолютно все исподволь наблюдали эту сцену и с интересом ожидали реакции Фокусника. Если бы он не огрызнулся, его судьба была бы решена.

Он этого не сделал. Опустив глаза, он испуганно посторонился, и первое мгновение я с сожалением подумал, что оказался прав, когда только увидел его щуплую фигурку с кокетливо приподнятым воротником пиджака.

Но вдруг он упал. Он упал так неожиданно и так эффектно, что, наверное, с полминуты никто не двигался с места, и стояла мертвая тишина. Без преувеличения могу сказать, что нужно потратить годы, чтобы научиться так падать. Тело стремительно рушится вниз, словно из него вынимают позвоночник, и складывается неестественно как тряпка. Пока он с минуту,

вот такой тряпочной куклой лежал на кафельном полу, произошел страшный переполох. Все закричали и сорвались со своих мест, кто-то стал стучать в тормоза и звать доктора, а кто-то бросился к умывальнику за водой. Но Фокусник, полежав так немного, преспокойненько поднялся и в первый раз, за сколько я его видел, улыбнулся всем кроткой детской улыбкой. Все, как дураки, замерли в своих спасательных позах.

– Ну ты даешь! Вот дуранул так дуранул! – восхищенно похлопывали по плечу застенчивого Фокусника.

С тех пор он был самой популярной персоной в камере. Оказалось, что эту присказку «семь судимостей иметь и ни разу не сидеть» можно было в полной мере отнести к нему, потому что, будучи неоднократно судимым, он все свои сроки отбывал в психиатрических клиниках. Он косил всю свою жизнь, и по знаниям и опыту мог сравниться с настоящим врачом-психиатром, и впоследствии, желающие избежать приговора сокамерники, выстраивались к нему в очередь за консультацией.

Мастера по татуировкам со мной не сидели, и совершенствовали мы себя иным способом. Закатывали под мягкие ткани вазелин в разные места и с разными целями, в нашем случае в крайнюю плоть и в костяшки кистей (затрудняюсь, куда и зачем еще можно. Но уверен, что находят). Ходило среди нас множество легендарных рецептов. Самыми забористыми были мышинные ушки, которые сушили и затем вживляли, то есть просто засовывали в надрезы крайней плоти по обе стороны члена, и самый эффектный – розочка: это когда по головке били молотком с такой силой, что она лопалась, раскрываясь на лепестки. Знатоки утверждали, что именно так, а не иначе она раскрывается. К таким рискованным операциям мы не прибегали, а вот вазелин был в ходу, а если быть точным, тетрациклиновая мазь для глаз. Она была в очень удобном тюбике и на вазелиновой основе, что и требовалось.

Помню, остроумно изготовлялся шприц: из наконечника обычного шарикового стержня вынимался шарик и наконечник затачивался об кафельный пол, превращаясь в иглу ничуть не хуже медицинской, затем снова вставлялся уже укороченный стержень и с другого конца натягивался на тюбик. Получался заряженный тетрациклином шприц. Считалось, что мазь со временем твердеет, покрываясь под кожей соединительной тканью, таким образом «орудие» становилось бугристее и больше почти естественно и безопасно.

Но существовали и противники, говорившие, что это все плохо кончается и результат бывает прямо противоположным ожидаемому: возникает воспаление, и люди попадают на операционный стол. Там, избавляясь от пораженных тканей, заодно избавляются и от бугристей, как сделанных, так и врожденных, другими словами, член просто-напросто обтачивают, как карандаш.

Я послушал и тех и других. Находились ухари, закальвающие себе по восемь, двенадцать и больше кубов и стонущие по ночам на дальнике под хохот сокамерников. Я же ограничился одним. Через неделю он у меня благополучно рассосался, и я, удовлетворив любопытство, стадное и прочие свои пылкие юношеские чувства, так и остался ходить неусовершенствованным.

Да, по поводу костяшек на кистях. У нас был один, погоняло Афганец, он сделал из своих рук настоящие боксерские перчатки. Что ж, я так его и запомнил: день за днем он ходит по камере, держит руки на весу и морщится от боли.

«Семья» в тюрьме – это когда люди делят «тюху», потрошат вместе «дачку» и впрягаются друг за друга, «если коснется». Тогда в камере царили две семьи, я имею в виду две самые активные и многочисленные семьи, влияющие на общие решения «хаты». Одна состояла из русских, а другая... я даже затрудняюсь сказать, из кого. Там были и грузины, и армяне, осетины, чеченцы – в общем, буду называть ее восточной семьей, потому что там были все. Это объяснение мне пригодится потом, а пока я вспомнил одного героя и о нем буквально два слова.

«Я карачаровец, – говорил он, – знаешь такую национальность?» Он держался немного в стороне от своих, и пододвигался только когда его звали есть. Был необыкновенно красив дикой восточной красотой. Как у них часто встречается, отличался норовистой, горделивой осанкой породистого рысака. Он и смотрел так же – грустно-грустно, большими карими глазами, как и смотрел бы рысак, запряжённый в телегу. В эту «телегу» его запрягли из какого-то театрального вуза.

Помню, однажды он лежал на спине и громко пел русскую песню «Черный ворон». Восточным тенором, с характерными для них переливами он так мужественно и горько пел, что я словно первый раз ее услышал. Может быть, обстоятельства произвели на меня такое впечатление, но, как ни крути, именно карачаровец подарил мне эту русскую песню, и она с тех пор самая любимая моя из всех русских.

Вот и аукнулось.

К нам перевели одного айзера, и все обступили его с вопросами. Оказалось, он сидел со Спицей. Я на правах Спицыного знакомого деловито выступил – как он, как там, то да сё.

Надо сказать, сделал я это не из дружеского участия к Спице, а просто хотелось пустить пыль в глаза. И айзер тоже. Все, что он сделал впоследствии, думаю, не из идейных соображений. Он только попал в камеру, к нему присматриваются, вот он и решил сыграть роль обличителя, отводя от себя общественный интерес. Узнав мое имя, он с негодованием стал тыкать в меня пальцем и кричать: «Братва, да он фуфлыжник, мне Спица рассказывал!»

Что мне было делать? Пока на моих руках не повисли, я успел приложиться к азербайджанской физиономии. Стали разбираться. Никто не имел права сказать мне такое, кроме самого Спицы или того, на кого он переведет долг. В свою очередь я не должен был бить айзера. Так и оставили.

Но с этого момента спокойная жизнь закончилась. Я чувствовал, что на меня косятся, и раздобыл внушительный кусок стекла (там просто сокровище). Я уже говорил, что люди играли в тюрьму и только отчасти следовали понятиям, то есть тем неписанным воровским законам, и поэтому ожидать можно было всего, что угодно. Я держал свой «кинжал» под подушкой, ходил с ним на прогулку, мылся с ним в бане.

Вот еще один чудесный мой сокамерник – Молодой. Щуплый, с длинными руками и большой головой. Все его лицо было покрыто рытвинами и чирьями, губы он держал постоянно трубочкой, и все выражение казалось всегда по-идиотски недоумевающим. Когда он скупал, он молча шел на пяточок, садился на корточки и, глядя в потолок, начинал рассказывать. Манера была необыкновенная, потому что все это он проделывал в полном одиночестве. По камере пробегал шепот: «Молодой рассказывает. Молодой рассказывает.», все снимались со своих мест и постепенно окружали Молодого. Вскоре вокруг него собиралась вся камера, и он вставал и говорил, как со сцены, по ролям, с ужимками и разными пантомимическими приемами, превращая свои рассказы в целые спектакли. Главным образом это были приключения его друзей: Дули и Парчины. Их похождения могли вызывать дикий хохот несколько часов подряд.

Затем Молодой умолкал и невозмутимо и просто, словно он только что всего лишь умылся перед сном, шел спать.

И еще один – Циркач. Так прозвали одного юношу до тюрьмы якобы работающего в цирке. Частенько посередине камеры он жонглировал кружками, крутил шахматную доску на пальце и делал это с азартом и удовольствием. Но плохо. Скорее всего, он врал про цирк и просто выдавал свою мечту за реальность.

Циркач вообще был странноватый. Маленький, почти как карлик, со сплюснутым черепом и большим носом. На вид ему можно было дать не больше пятнадцати, а если поговорить, то и утвердиться в этой мысли, такой он был наивный и доверчивый.

Однажды с ним произошла такая история. Все обратили внимание на Циркача и одного армянина, когда последний, громко смеясь, говорил: «Ну, ты попал, Циркач, давай, иди, делай». Они только что закончили партию в шахматы, и, видимо, Циркач проиграл. Он вышел на проход, я даже скажу, охотно и весело, такой он был ребенок, и отжался от пола пять раз.

– Что ты мне тут делаешь? Ты сколько проиграл?

– Пять штук, Вот, отжался.

Циркач стоял и болтал руками, словно показывая, что готов еще хоть десять раз отдать такой легкий долг. Армянин опять засмеялся, обращаясь уже ко всем: «Пять штук! Проиграл мне пять тысяч и дурочку здесь валяет! Давай делай».

Циркач отжался еще пять раз и, покраснев, дрожащим голосом сказал:

– Вот, сделал пять раз, как договаривались.

Армянин вскочил и затряс пальцем у Циркача над головой:

«Я твою маму едал, ты мне сколько проиграл? Пять штук, так? Штука это сколько? Циркач, ты что, дурак? Делай, давай. Не можешь, снимай штаны.»

Циркача от страха заклинило. Совсем пунцовый, он снова отжался пять раз и встал как истукан, напряженно глядя на беснующегося армянина.

Народ поспрыгивал с нар и с интересом наблюдал эту сцену.

К армянину присоединилась почти вся его «восточная семья», и они, окружив Циркача, яростно объясняли ему, что штука – это тысяча и что, если он не может столько отжаться, то снять штаны и расплачиваться натурой – это его долг, просто его святая обязанность.

Циркач в каком-то столбняке повторял одно и то же и, по-моему, еще раза три отжимался по пять раз, как будто рассчитывая этим прекратить скандал.

Где-то через полчаса вся эта восточная братия принялась избивать Циркача. Еще через какое-то время между нарами и окном, это самый дальний угол камеры, раздался визг Циркача, с которого стали стягивать одежду. Тут все не выдержали и бросились его спасать.

Что там было! Циркач стоял в стороне, весь зареванный, а вся камера, поделившись надвое по национальному признаку, с пеной у рта решала его судьбу. Еще бы чуть-чуть – и началась бы резня, по масштабам, а главное – по такой четкой национальной разграниченности явление в тюрьме небывалое, о каком я и не слышал в самых бредовых тюремных легендах.

Но обошлось. Циркача отбили. По требованию армянина он должен был перед всей камерой дать клятвенное обещание никогда не играть на интерес. На том и порешили. Циркач, весь в слезах, дрожащий, стоял на верхнем ярусе и клялся. Причем армянин его постоянно поправлял и подсказывал: «Я клянусь братве, что никогда, ни в какую игру...» и так далее. Все, вдоволь накричавшись, таким образом, потом повеселились.

Казалось бы, и все. Но самым интересным представляется мне то, что история эта оказалась на Циркача неожиданное действие. Шли недели, менялись люди, в тюрьме очень быстро меняются люди, а Циркач беспрестанно выписывал из библиотеки разные шахматные пособия. Целыми днями он сидел и решал этюды, разыгрывал партии великих гроссмейстеров. Скоро выиграть у него в шахматы не мог никто и даже само его прозвище, «Циркач» стало в камере нарицательным, означающим шахматного виртуоза, непобедимого игрока. Но если ему кто-то из новеньких говорил: «Давай по пачушке сигарет, а?», он по-детски серьезно отвечал:

– Нет, не могу, я клятву дал

Иногда Молодой с боксерскими перчатками, сшитыми из одеяла и набитыми поролоном, ходил по камере и искал себе спарринг-партнера. Желающих было мало, а я соглашался. На этой почве мы с ним и стали хорошими приятелями, и я, сам того не подозревая, отработал таким образом судьбе на импровизированном ринге. Но об этом потом.

Боксировал Молодой странно и талантливо, как, впрочем, все, что ни делал. Он был расслаблен и свободен, как прирожденный боксер, его можно было мутузить сколько угодно, все шло куда-то впустую, мазалось по предплечьям, натыкалось на локти, а Молодой ходил вокруг мешковато и спокойно, как по собственной кухне, и ничего с ним не делалось. К нам как-то перевели Хохла, молодого парня из Черкасс, как оказалось, мастера спорта по боксу. Двадцатилетний розовый Хохол выглядел как хрестоматийный спортсмен. Атлетичный, мощный. По сравнению с ним Молодой – шпана шпаной, прокуренный тщедушный уголовник.

И вот они провели незабываемый поединок, для которого специально были сшиты шлемы из зимних шапок и обвешаны одеялами железные нары по всему проходу.

Молодой держался в глухой защите под градом профессиональных ударов, шаркая в своей обычной гуттаперчевой манере и с идиотским выражением. Иной раз Хохол, недооценивая противника, проваливался, и Молодой красиво уходил под руку, срывая аплодисменты. Хохол снова наседавал, и Молодой пятился, уклонялся, закрывался как-то издевательски свободно, так что со стороны это выглядело даже немного нелепо, я имею в виду, конечно, все старания мастера спорта. Но вот в один из спуртов Хохла, Молодой, уходя в сторону, не то чтобы ударил, а скорее мазанул левой рукой по корпусу – и бой кончился. Хохол лежал на полу и задыхался от удара в печень, очень болезненного и, главное, невероятного при такой интриге боя. Молодой, губы дудочкой, шел спать.

Как-то раз Молодой отозвал меня в сторону и сказал, что к нему пришла малява от Спицы, где он весь долг переводит на Молодого. Выяснилось, что они со Спицей земляки и, в общем, давно друг друга знали еще на воле. Молодой посмотрел по своему обыкновению по-идиотски в потолок, и сказал: «Ну что? Триста рублей переведешь мне на счет и бегом. Ладушки?»

– Ладушки, – ответил я перед лицом счастливого совпадения.

Парнишка, не помню, как его звали, где-то одних со мной лет, постоянно спал, накрывшись пальто. Его отчаяние, не каждому доступное, в том числе и мне, тогда меня удивляло, а сейчас поражает. Он вставал только поесть и лишь изредка, вяло отвечая на вопросы, говорил: «Избавил мир от одной мрази».

Да, просто избавил, – как-то так говорил и снова ложился. Так он мне и запомнился, день и ночь распластанным на нарах и накрытым своим пальто.

Вернулся в камеру после суда и сидел на своем бауле перед тормозами, ждал, когда меня заберут в осужденку. Нары мои уже были заняты, и я сидел и слушал утешения своих сокамерников, думая, что этот день станет самым несчастным в моей жизни. Я сейчас не помню даже числа, так я странно устроен.

Наконец за мной пришли, и я с двумя вертухаями спускался по зарешетчатым лестницам Бутырки. На каком-то из этажей меня попросили подождать (вот так бывает!) и оставили одного. Вертухаи ушли, видимо, что-то выяснить по поводу моего перемещения. Предоставленный самому себе, я тихонечко стал отдаляться от лежащего баула, продвигаясь по этажу. Вскоре я уже заглядывал в камеры и обменивался приветствиями с незнакомыми сидельцами.

Вдруг позади себя я услышал крик и увидел стремительно ко мне направляющегося маленького старлея и за ним смущенных моих охранников.

– Ты что, здесь разгуливаешь?! – на этих словах старлей попытался ударить меня в пах ногой. Потом еще.

Это был щупленький, низенький татарчонок, и ему страсть как хотелось сбить меня с ног. Мне бы упасть сразу, но я как-то не догадался. Старлей все свирепел и свирепел, таскал меня

за волосы, даже прицельно бил по ногам, но я его не понимал, а два провинившихся охранника стояли рядом и, я уверен, жалели меня.

Об осужденке я помню, пожалуй, еще меньше, чем о КПЗ, с которого начал свой рассказ. Разве что гитара. Из картона, в свою очередь сделанного из множества листов бумаги, была сделана дека, грифом была обычная обтесанная заточкой деревяшка, а струны сплетены из ниток. Она звучала как банджо, только немного глуше.

Глава II

«И встала из мрака молодая с перстами пурпурными Эос,
И был осужден я судом Тимирязевским, вот где Фемида
Свою слепоту обнаружила, чаши весов же остались
В руках неумелых орудьем беспомощным, меч же богини,
Блеском законов оскалась, отсек уж ни много, ни мало
Прожитой жизни моей половину. О, грозные боги!
Мне, восемнадцать прожившему, семь присудить заточенья!
О, всетворящий Зевес! Уж лучше бы Эос не встала!
Но встала из мрака молодая с перстами пурпурными Эос,
И был осужден я, и в свете, невиданном прежде,
Жизнь обступила меня, копченые своды и прутья
Ржаворестотугие, сплетенные сетью гигантской,
Окна, стемненные мраком, и стены, бугристые глыбы,
Все мне казалось тогда воплощением царства Аида.
Тенью бродил я по камере, словно по берегу Стигса,
Мысли смиряя, как мужа, разбитого буйной падучей.
Что за надежды питал я? Вспомнил ли я о раскаянье?
Был ли усерден я в службе, что гнев олимпийцев сменяет
Жертвенной кровью на милость?»

Не буду утомлять читателя изложением этого смешного опуса целиком. Конечно же, шутка, юношеская пародия, пожелтевший листок с которой нашел я в своих записках. Думаю, она была написана года через два после упомянутых событий. Она связана с прочтением «Одиссеи», с попытками писать стихи и мимолетным знакомством с Евреем – персонажем, до которого, я надеюсь, еще доберусь. По-моему, достаточно смешная и забавная. Но, главное, я считаю ее характерной для меня тогдашнего, легкомысленного, наивного и глупого юноши, и потому привел ее в качестве прелюдии. Ну и заодно чтобы напомнить читателю, на чем я остановился.

После «осужденки», от которой у меня осталось так мало воспоминаний, меня перевезли в транзитную тюрьму на Красной Пресне. К сожалению, этот период также оставил в моей памяти лишь сумеречное пятно с крайне малым количеством подробностей. Пресня, не в пример Бутырке, была примитивным советским казематом. Ни романтического ужаса, ни разных мелких деталей, говоривших о мрачной старине, ни даже «шубы», придающей стенам особую дремучесть. Камеры там были еще меньше, а людей еще больше. Жара стояла страшная, и все человек семьдесят, в двадцатипятиместной «хате» предстали передо мной все как один в трусах. Спальные места находились везде, даже под нарами, и это в связи с перенаселенностью не считалось зазорным. Спали в три очереди, смена спит, две тусуются на проходе или сидят за «дубком».

Народ спокойнее, все пришиблены сроками, и каждый со страхом ожидает этапа. Все боялись севера – лесоповала, лесосплава или каких-то ультракрасных зон типа Белого Лебедя, но никто, за исключением редких бластных случаев, ничего не мог знать. Это была чистая ружейка. Отсюда и атмосфера настороженная, выжидающая и относительно мирная. За те

месяц-два моего пребывания на Пресне со мной решительно ничего не произошло. Разве что вот голодовка, длившаяся три дня. Меня, как назло, в то время вызывали к адвокату, таскавшему мне от мамы шоколадки, и я был вынужден их съесть прямо при нем.

И помню еще еженедельную баню, где нас зачем-то мучили охранники. В большом кафельном помещении, закрытом на железные двери, включалась горячая вода и лилась так, неразбавленным кипятком, покуда человек пять не падало без чувств от удущья.

Когда человека «выдергивают» на этап, опять же за редким исключением, он до последнего момента не знает, куда его везут. То есть буквально уже перед воротами зоны может не знать, где он находится. Однажды так случилось и со мной. Я попал в этот этапный круговорот: «сборка», «стаканы», «автозеки», где огромное количество людей, находящихся в полном неведении, развозили сразу во всех направлениях. На сборке нашей партии раздали пак, каждому по селедке, завернутой в бумагу. Один из бывалых посоветовал избавиться от нее, потому что, по его словам, у конвоиров в «стольпине» не допросишься воды, а допросишься – не выведут в туалет. Это правда. Впоследствии один мой повидавший друг рассказывал, как он больше суток не мог сходить по малой нужде (обычно в таких случаях запасаются пакетами, но бывает всякое). Самое интересное, что, когда ему все же удалось упротить охранника, он не мог выдавить из себя ни капли. Стоя. «В таких случаях, когда мочевого пузырь переполнен до отказа, – говорил он мне, – ссать получается только, побабски, сидя». В общем, все свои селедки мы оставили под лавками автозека. Нас выгрузили на запасных путях какого-то вокзала. Все как полагается: руки за голову, морду вниз, окрики и дула автоматов, кино, да и только. Больше чем за полгода я впервые оказался на открытом воздухе, и эту мою встречу с незарешетчатым небом оглашал сумасшедший лай служебных собак.

«Стольпин» оказался обыкновенным вагоном, где окна забиты железными листами, полки – приваренные нары, а двери купе – решетки. Нас запихали в каждое купе по принципу «сколько влезет», и мы тронулись.

Внутри этого огромного невезения, которое на меня свалилось, я все же выступал в ранге юниора с заниженными нормативами и всякими поблажками. Это я к тому, что этапа, как такового, я не видел. Все эти мытарства по нашей огромной стране меня, к счастью, миновали. Часов через пять мы уже приехали. Больше того, нам повезло так, что, минуя местную пересылку, нас по уже смеркающей и еще неведомой провинции повезли напрямиком на зону.

Сначала был полуосвященный полустанок. Мы, спрыгивая с подножки, с удивлением увидели, что нас встречает куча народа. Солдаты оттесняли местную шпану, на две трети состоящую из молодых девчонок, смех и визг которых раздавался на всю округу. Думаю, что встреча этапиремых входила в разряд местных развлечений наряду, скажем, с танцами в клубе. Это было здорово. Стоял страшный шум, кто-то из наших крикнул: «Где мы?», на что девчонки еще звонче закричали: «Узловая! А вы откуда?» Солдаты нервничали и злобно распихивали нас по машинам. Но что-то там не клеилось. Мы, уже закрытые в автозаках, еще долго стояли на месте и, видимо, пользуясь тем, что оцепление сняли, девчонки обступили машины и колоутили по железной обшивке. Была какая-то болтовня: как зовут? А меня Маша. Света. А меня Серёжа – и так далее. Помню, от этого все показалось ерундой и стало весело.

Было уже достаточно темно, когда за нами с грохотом проехали автоматические ворота. Автозак стоял на яме, в которой был сложен массивный стальной зуб, выдвигающийся в высоту метра на полтора. Лицевую сторону следующих ворот я видел в первый и в последний раз. Они распахнулись, и нас небольшим отрядом повели по рабочей зоне колонии, мимо цехов, через вахту, по жилой зоне вдоль секторов и, наконец, в карантинку. Чудесно помню свои первые шаги по этому маршруту и совсем смутно – все последующие. Здесь нас тоже встречали. Все цеха были раскрыты, и около них небольшими группками стояли или сидели на корточках зеки. В засаленных рабочих телогрейках, лысые, все похожие друг на друга. Я потом, так же как и они, много раз встречал этап и хорошо могу себе представить, как мы тогда выглядели. Бледные, почти белые от долгого пребывания в тюрьме лица, разноцветная вольная одежда: джинсы, куртки, пиджаки. Кто толстый, кто худой, все лохматые и все разные.

Сначала были ворота механического цеха, затем цеха, где делали велосипедные звонки, за ним небольшое строение «швейки», и мы завернули на вахту. Но «рабочка» простиралась еще далеко вперед. Там находились еще столярка, кондеры, опять швейка, лоза и инструменталка. Я сразу дал такой краткий обзор, чтобы потом не объяснять все эти уменьшительно-ласкательные названия наших галер.

Что ж, карантинку я плохо помню, но могу биться об заклад, что там были все те же привычные процедуры: нас шмонали, брили, мыли и отбирали одежду.

Мы первый день в отряде. Сидим в каморке у завхоза, который распределяет нас по спальным местам. По-моему, нас было трое, я помню Симкина, молодого нервного парня, и Лешу из Воскресенска, большого заскорузлого мужика, настоящего шахтера на вид. Он был похож на напуганного мамонта. Темные глаза смотрели напряженно в одну точку и словно высасывали что-то, как насосы. Говорил он так же. Немыслимо сближаясь лицом с собеседником и обдавая его своим мужицким перегаром. Причем таким, как я потом понял, он был всегда. И через год, и через два, и через много лет он встречался мне в разных местах и неизменно вызывал этой своей манерой рвотный рефлекс.

Завхозом тогда был Кузнец. Тип, с первого взгляда на которого можно было почувствовать силу, огромный тюремный опыт, авторитет и, главное, абсолютный выход через это за пределы всяких пацанских понятий. В общем-то, сквозь каторжанский налет можно было еще и разглядеть обычного деревенского тракториста. Он говорил с нами насмешливо и бесцеремонно:

– Ну что, писдюки, кем подниматься будете? Мужиками?

Слово «писдюки» зазвенело у меня в голове, и я запаниковал. Это было так неожиданно, что мне даже показалось, что я ослышался. Леша склонил ко мне свою кирзовую рожу и испуганно спросил: «Что он сказал? Писдюки? Что это такое?»

Я пожал плечами, притворившись, что не слушаю и занят своими мыслями. Всем своим видом я показывал, что, если кто-то хочет меня оскорбить, пусть обращается непосредственно ко мне.

Но никто оскорблять нас не собирался. Впоследствии выяснилось, что «писдюк» – местный эквивалент армейского «духа», и мы слышали это сплошь и рядом. Например, если отдельные старожилы брались кого-нибудь опекать, они так и говорили: «Это мой *писдюк», но еще смешней это выглядело, когда, скажем, вновь прибывшему старику или тому же Леше, мужику лет сорока пяти, издали кричали: «Эй, писдюк, подойди сюда!»

Начиная с бутырских «спецов», я, проходя по всем этим лабиринтам пенитенциарной системы, чувствовал, как мир вокруг меня становился все мелочней и нелепей. Внешне это совпадало с расширяющимся постепенно пространством, но на самом деле, видимо, зависело от окончательного установления нашей плачевной стабильности. Попросту говоря, люди обживались и старались выжать из скудного окружения максимум комфорта. Это был мир тумбочек, кипятильников, кроватей, проходняков (это расстояние между кроватями, которым владели как квартирой), мелюстиновых лепней и брюк (гальваническая спецодежда, распространяющаяся подпольно, перешиваемая и имеющая достаточно цивилизный вид не в пример выдаваемым хэбешным лохмотьям) и, конечно, тапочек. Войлочные тапочки поносного цвета, с дерматиновой окаемкой и резиновыми подошвами. Их изготовлением подрабатывал каждый второй работающий на швейке, и они сохранились в моей памяти как символ этой странной островной жизни, сотканной из промышленных отходов, примитивных желаний и уродливого быта.

Козлы, блатные, сросидящие и прочие устроившиеся имели все вышеперечисленное и разительно отличались от оборванного стада этапников. Последние ходили как индийские парии, иной раз за целый день не имея возможности даже присесть, чтобы выпить свой стакан чая с тухой.

Тюха – замечательное слово, так мы называли кусок черного хлеба, положенный на завтрак, обед и ужин.

Обычно эта армия временных отщепенцев ютилась в телевизионке, слонялась по сектору, стояла у подоконников, разбредалась по гостям. Естественно, со временем она редела. Кто-то начинал помогать администрации и получал за это все блага, шел на различные козлиные должности (шныри, завхозы, бригадиры, контролеры), кто-то обретал «семью», кто-то вступал в чьи-то «писдюки» (вот пишу и смеюсь прям), ну а некоторые еще долго ходили неприкаянными оборванцами и даже отсиживали срок, так и не приодевшись, не понежившись на нижней «шконке», не попив «купечика» с соевой конфеткой в собственном «проходняке».

Я наслаждался весной. В мешковатой серой робе, в незавязывающихся ботинках, я ходил по сектору и вдыхал производственные запахи, приятно разбавленные весенним холодцом.

Сектор – это двор двух или трех бараков, огороженный от основной и единственной улицы колонии решетчатым забором. Калитка открывалась автоматически с вахты. Там сидел за стеклянными витражами дежурный по колонии, ДПНК, и безучастно смотрел, как, скажем, куча народу из четвертого сектора трясет калитку. По селектору он грубо спрашивал: «Куда намылились?» Срывая голоса, ему орали: «Четвертый! Четвёртый! Завтрак, мать твою!» Подождав, пока у калитки соберется побольше людей, ДПНК наконец нажимал кнопку на пульте:

«Постройтесь, че вы стадом претесь, так, вот ты, ты, иди на вахту, я сказал, иди на вахту, живо, ты почему в тапочках?» Примерно такая речь обычно раздавалась из селектора на всю зону. Все знали, какой ДПНК сегодня дежурит: Трактор, Ватсон, Калинин. У каждого был свой характер, и в смену каждого что-то было можно, а что-то нельзя.

Да, донести эти специфические условия трудно, поэтому я беспрестанно отвлекаюсь. Так вот, я наслаждался весной...

Симкин сразу прославился своим лунатизмом- По отряду пробегал шнурь, кричал: «Отбой» и выключал свет. Часа два или три еще стоял гул, люди по проходнякам чифирили, что-то обсуждали, особенно блатные, приблатненные и иже с ними трещали до глубокой ночи, Пожирая друг друга или заманив к себе очередную жертву, они ругались, спорили или ржали, как умалишенные. Но, так или иначе, в бараке к какому-то времени устанавливалась мертвая тишина. И вот тут солировал Симкин. Во сне он орал, как на плацу. Мне запомнилось, как в сонном безмолвии, когда лишь слабый свет ночника и редкое поскрипывание кроватей, вдруг раздавался оглушительный гогот, дьявольский смех, молниеносно заполняющий барак и от которого, у меня мороз бежал по коже. Конечно, Симкин ржал, потому что он был лунатик, но что-то в этом было душераздирающее.

Иногда Кузнец ходил по бараку и орал на так называемых «правильных пацанов», которых основная масса сторонилась, как бешеных собак. Они раздражали его незаслуженными манерами, всей этой выпендренной пальцовкой, блатными словечками, которыми они козыряли, как мальчишки во дворе. Ещё, четками, бесконечно вращающимися в их руках.

«Лежат изды пушат, пацаны, им ляжку каторжанскую тянуть, в буре чалить, а они на работу ходят.» – говорил он им полушутя, и они подобострастно хихикали в ответ. «Помойка, – передразнивал он их, – уя обожраться, сами туда хавать ходят и помойкой называют» (так они, да и все мы, называли столовую). «От сиськи только оторвали, они уже базарят! – кривлялся Кузнец. – Базарят они! Базарят бабы на базаре» – ну и все в таком духе. Ему, бывшему на короткой ноге с действительными авторитетами и прошедшему все ипостаси (от блатного до козла) этой каторжанской жизни, боялись возражать. К тому же он был местный, а, к слову сказать, большинство людей в этой зоне были местными.

Кузнец был матер, прожжен, знал всех и все и мог позволить себе многое. Его деревенское лицо, коричневое от выпитого за срок чифира, выражало озлобленную усталость, и само по себе уже внушало страх.

Как-то наша компания оборванцев, неприкаянных этапников находилась поблизости от спящего Кузнеца. Пятнадцатилетний срок его заканчивался. Он отошел, как говорится, от дел и обычно спал до полудня. Мы поглядывали на него искоса, когда он, шумно просыпаясь, сел на шконку. Жилистый, весь в звездах, в церквях. По-видимому, ему что-то приснилось эротическое, и он, потирая лицо, сонно приговаривал:

– Вот женщины! За что их так? Прут, во все щели. За что?

Стасу было двадцать три года, он досиживал свои пять лет, полученные, если мне не изменяет память, за изнасилование. Что-то связывало его с Кузнецом, и он, чувствуя себя под крылом могущественного завхоза, вел себя расслабленно и свободно. В его проходняке постоянно гужевалось множество народу: мужики, живущие от ларька до ларька, замкнувшись в себе и вечно напуганные, этапники, ничего не понимающие и не знающие к кому прислониться, в общем, какая-то такая публика, на самом деле составляющая большинство в отряде. Стас председательствовал в этом сборище, и его подручными были Мельник, молодой токарь с механички и Чижик, шнырь и непосредственный подопечный Кузнеца. Я хорошо помню, как Стас эпатажно и с напором открывал глаза присутствующим на их положение.

– Вы, черти! Вы считаете себя правильными мужиками? Вот ты. Ты, черт, черт, закатай вату»

Кто-то слабо протестовал: – А ты кто?.

На что Стас еще пафосней и чуть ли не с гордостью отвечал: – И я черт. Кто же еще? Настоящий черт, – и фыркал, и корчил рожи, придавая этому некою двусмысленность и значение. Еще не освоившиеся «черти» (беру в кавычки, конечно), сами боявшиеся сказать лишнее слово, смотрели на Стаса с уважением и восторгом.

Но порой Стасовы выступления портил Чижик. Маленький, беленький, почти мальчик, он обладал бешеным темпераментом и пронзительным, звонким голосом. Вклиниваясь в очередной Стасов ликбез по воровскому праву, Чижик пытался поправлять Стаса и вступал в затяжные споры. Меня очень удивляло, когда Стас, все же сохраняющий всегда некоторую наигранность и ироничность в своих проповедях, вдруг впадал в настоящую ярость. Казалось, что его злил сам факт того, что Чижик вообще позволил себе открыть рот. Кончалось все тем, что Стас с налитым кровью лицом брал Чижика за шкирбон и уводил в сторону. Чижик возвращался пристыженный, подавленный и молчаливый.

Всякие мелкие происшествия посыпались на мою голову. Например, помню свой ужас, когда я обнаружил, что заболел чесоткой. Подо мной, в проходняке обреталась приклатненная компания ширпотребщиков (делающих на рабочке ножи, муляжи пистолетов, ручки для коробок передач и прочие сувениры). В ширпотребщиках нуждались, их уважали, ну и, естественно, отмазывали от работы, многие из них давно сидели и были в авторитете. Озабоченные лица, серьезные проблемы, что-то надо ментам подогнать, что-то на общак выделить, все в мелюстине, отглаженные, чистенькие, лежащиеся спать в хорошие «пеленки» (это простыни, обычно рваные), имеющие вольные полотенца, тапочки для сектора, шлепанцы для умывальника. В общем, чесотка, как мне тогда казалось, это приговор.

И надо ли говорить, что чесотка чешется и, если чесаться так, как она того требует, сохранить это незамеченным практически невозможно. Ночью под тихие разговоры о том, что какому-то оперу нужно подогнать наборную ручку, а, скажем, два пистолета выгнать на волю, а еще один стилет отдать на общак, я медленно запускал руку под одеяло и самозабвенно чесал известные места. Притом делать это надо было так, чтобы эта проклятая двухъярусная кровать, такая чуткая ко всяким колебаниям, не скрипнула и не шелохнулась. Из-за собственного малодушия я достигал невероятных высот в эквилибристике.

Но настоящим шоком было, когда я через какое-то время нашел у себя еще и бельевого вшей. Тут уж я не выдержал. Я набрался храбрости, у всех на глазах скатал матрац, взял баул из коптерки и стал проситься на прожарку. Впрочем, я нашел в себе силы сделать это по-взрослому, непосредственно и спокойно и не навлек на себя ни излишнего внимания, ни насмешек.

До сих пор я писал о блатных как о некой безликой аристократической группе, терроризирующей всю основную массу. Если уж быть откровенным, так оно и было. От некоторых из них, самых честных, я слышал и «черти», и «быдло», и «стадо» в адрес всех прочих. Они, не стесняясь, всячески подчеркивали свою избранность. Что же касается безликости, то я действительно могу вспомнить лишь считанные единицы, поскольку, как и все, старался существовать с ними в разных плоскостях. Любое столкновение не сулило ничего хорошего. В большинстве своем это была местная шпана, неохотно принимающая в свой круг, скажем, москвичей, нещадно спекулирующая воровскими понятиями, искажающая их и сводящая к примитивным этикетным правилам. Например, они рьяно следили за тем, кто что скажет. Вместо «обиделся» надо говорить «огорчился», вместо «свидетель» (если про себя) – «очевидец», не «спасибо», а «благодарю», в общем, такая муть, что порой трудно представить ее происхождение. Бедных этапных простофиль разводили на такой ерунде, что даже и писать об этом как-то неловко. Вот классика жанра: «Девушка твоя на воле тебе делала минет? – Да. – А ты с ней целовался? – Да» Все, попал, и, если это робкий, застенчивый дурачок, вероятность его отправления в «петушатник» очень высока. При всем при этом они еще требовали к себе уважительного внимания. Во-первых, ты должен сдавать на общак. Сигареты, чай, еще что-нибудь, так сказать, «по возможности». Куда девался этот общак, одному Богу известно, на тумбочке для этапников гуманитарная помощь была представлена только коробкой с махоркой. Во-вторых, ты должен подходить к ним и «интересоваться жизнью». То есть интересоваться всем вышеперечисленным плюс узнать много нового в том же духе: с козлом нельзя жить, с ментом чифирить и здороваться за руку, с пидором вообще ничего нельзя, по отряду в трусах не походишь (кого-то это волновало), а перед тем, как зайти в проходняк, нужно вежливо спросить: «Базарите?», а не «пилиться буром».

Велико было мое удивление, когда я увидел, как некоторые блатные фланировали по бараку в этой своей манере: шаркающая походка, четки наперевес, сутулая спина и подозрительный взгляд и нарочно сталкивались со всеми плечами. Оказалось, что по жизни все остальные обязаны уступать им дорогу.

На деревянном, покрытом грубой коричневой краской полу стояли в рядок тумбочки. Мы их называли «амбары». Этот рядок стоял на отшибе, возле стенки, и в нем держали свои вещи работяги, не имевшие своих проходняков. Это была такая импровизированная компания, почти сплошь состоящая из токарей, фрезеровщиков, сверловщиков, в общем, рабочих с механички. Несмотря на ежедневную баню, народ, трудно отмывающийся от масла и солидола. Каково это все отдраивать, я потом узнал на собственной шкуре. Меня любезно, как говорили, «пустил в свой амбар» один мужичок, и таким образом я обрел свое первое пристанище. Но ненадолго. Сигареты «Ваттра», соевые конфеты и чай, наконец-то приобретенные мной в ларьке, таяли не по дням, а по часам, и однажды я буквально за руку поймал этого мужичка, бессовестно потрошащего мои богатства.

Крысятничество, пожалуй, после педерастии и стукачества, самый страшный «косяк», какой можно только совершить в тех условиях, и, стоило мне поднять бучу, вышеописанные блатные с наслаждением забили бы мужичка табуретками до полусмерти. А я промолчал. И не потому, что мне было его жалко, а я просто не придавал этому значения. Конечно, я на него поорал, он передо мной полибезил, но весь тот базар, который мог подняться вокруг этого, показался мне несоизмеримым с кражей конфет и чая. Я разорвал отношения, забрал вещи и снова остался один.

Работать меня определили на «игрушку». Это была мастерская над механическим цехом с железными верстаками и множеством приваренных к ним тисков. Мы стояли за ними и обдирали напильниками заусенцы с только отлитых и еще не окрашенных игрушечных машинок. В глубине находилась хлабута мастера и бригадира, а напротив – несколько тисков, на которых работали ширпотребщики. Отмазывал их тогдашний бригадир Виталик Петров. Он был один из тех немногих, которых я знал от начала и до конца своего «плена». В свое время ему дали высшую меру, но потом заменили на пятнашку, и все это за нелепое убийство молодой девушки, сам факт которого Виталик, будучи пьяным, и не помнил. Небольшого роста, светлорусый, весь синий от татуировок, он был неизменно приветлив и говорил с характерными шутиливо отеческими интонациями.

В родной Туле, с дискотеки он привел девушку к себе домой, напился, а когда проснулся утром, обнаружил ее задушенной у себя под кроватью. Видимо, девушка никак не отождествляла вечернее приглашение с сексом, ну и была жестоко убита непонятым Петровым. Хотя это только догадки. Весь этот добрый, светлый Виталик Петров был примером злополучия и какой-то ироничной возможности абсолютно всего.

На проверку нас выгоняли в сектор.

Обдаваемые весенним ветерком, мы стоим огромным строем по трое, причем во главе четкую геометрию образуют законопослушные зеки неопределенного статуса, а хвост расплзается веером. Он состоит из медленно выползающих блатных и наполняется треском бешено вращающихся четок. Вдоль отряда ходят мент и завхоз, и в их руках – дощечки, которые они заполняют карандашами: столько-то в изоляторе, столько-то на рабочке, столько то на больничке и столько-то в наличии. Они считают нас по головам, ошибаются, снова считают, особенно трудно в хвосте строя, и я слышу год от года не меняющиеся шуточки в адрес их способностей к математике.

Рядом, вдоль другой стенки стоит малочисленный и оборванный строй отряда номер шесть «а» (наш просто шесть, а наверху еще – восемь). Это петушатник, там всего человек десять, пятнадцать, и, надо сказать, один другого стоит. Грязные, больные, в язвах и прыщах, и все с той или иной психической патологией на лице. И я не преувеличиваю. Почему-то, сколько я их не перевидал, но даже у самых благообразных некая стигмальность, ущербность в лице непременно присутствовала. Они так стояли у стеночки не только на проверке. Им возбранялось ходить по сектору, и, когда я впервые их увидел, то со смущением и смехом представил себе никогда не виденную воочию (что вы хотели – советские времена) панель с застывшими в усталых позах проститутками.

На всю колонию, если я не ошибаюсь, приходилось три или четыре старых тополя. В разных местах они возвышались над зоной, и в их еще голых кронах копошилось огромное коли-

чество ворон. Они громко каркают. Этот вороний галдеж раздается в этом месте с тем же постоянством, что и треск цикад на юге.

По главной улице везет свою тележку Долмат. Кто такой Долмат? Это зек, сумасшедший, своего рода Квазимодо, он свободно перемещается по зоне и выполняет всю грязную работу. Таскает какие-то железки, метет территорию, выносит помои. Каждой весной, как и сейчас, он высаживает на центральных клумбах цветы.

Вот такая картинка.

К Стасу я уже исправно захаживал. Помимо всего прочего это была еще «интеллектуальная забегаловка», где велись историко-философские беседы разного рода. Конечно, на своем уровне и в своей манере. Скажем, внешнеполитические отношения Киевской Руси или Петровские реформы обсуждались большей частью на жаргоне и с характерной уголовной тактикой ведения дискуссий. Надо вывести собеседника из равновесия: наезды, психопатические выпады, насмешливые намеки на разные личные обстоятельства. Затем дожидаться пусть даже ничтожного противоречия в его трактовке. Может быть, просто неосторожно сказанного слова будет достаточно. И все. Дальше нужно только хохотать, как чокнутый, вовлекать в это всех присутствующих и не слушать никаких оправданий. Победа у тебя в кармане. Стас и его подручные были в этом деле великими мастерами. Обычно я отмалчивался и был осторожен, но как-то ляпнул что-то сдуру и тут же оказался в центре яростных атак моих новых приятелей.

Со смехом вспоминаю этот дурацкий, но очень жаркий полуночный спор. Тема была – дарить ли девушкам цветы? Да, именно так. Причем мне досталась роль угодника, а им – мужественных ловеласов, пренебрегающих банальными уловками. Меня разорвали в клочья. Весь исколотый насмешками, оглушенный криками, красный от возмущения, я все же «бычился» до последнего, что в свою очередь само по себе вызывало волну нового смеха и раздражения.

В общем, тогда я прокололся и показал себя во всей красе.

Еще одна картинка.

По отряду раздается телефонный звонок. По телефону, стоящему у входной двери, звонят с вахты. Поднимать трубку по понятиям «впадлу», и подходят обычно те, кто считает это для себя возможным. Телефон разрывается, никто на него не обращает внимания. Наконец из своей норы выползает недовольный Кузнец. Перед тем, как взять трубку, он раздраженно рывкает в пустоту, поверх леса кроватей: «Трубку взять некому! Правильные все!» Послушав, он резко вбивает ее назад, в аппарат и кричит еще громче: «Чижиу! Где этот урод?» Откуда-то из глубины бежит испуганный Чижик. Его необыкновенно белая кожа покрыта красными пятнами от страха, и глаза напряженно смотрят в пол. Кузнец оскаливается на него сверху вниз рядом золотых зубов и выглядит так угрожающе, что, кажется, сейчас откусит его маленькую белобрысую голову: «Ну, ты что, скотина? Я должен подходить к телефону? Издуй на заготовку»

Чижик пулей выбегает из барака. Иногда Кузнец помогает ему пенделем.

Прежде, чем отряд направится в столовую, нужно расставить по столам наполненные сечкой или перловкой бачки. Хлеб, тарелки, ложки и т. д. Это называется «заготовкой». Минут через пятнадцать Чижик прибегает в отряд и орет истошным голосом: «Ужин». Барак наполняется топотом. Все спешат. ДПНК может не выпустить опоздавших из сектора. Часть блатных не идет в столовую и, валяясь на шконке или сидя перед телевизором, обращается к Чижику: «Возьми мне тюху. Нет, две. Комар тоже не идет. хорошо?». Чижик соглашается, дружелюбно и кротко, и тут же кричит на всех, с неизвестно откуда берущимися в его тщедушном тельце темпераментом и наглостью.

– Вот ломятся-то, бизоны, лишь бы кишку набить!

О появлении Бутора в нашем отряде можно было судить по громкому смеху, раздающемуся где-то в проходняках блатных. Бутор спускался к нам из восьмого, чтобы «потрещать» с «правильными пацанами», некоторые из которых были его земляками, ну и откровенно поиздеваться над прочими. Он был один из тех немногочисленных людей, если можно так выразиться, «повстанцев», ни во что не ставящих всю эту каторжную жизнь и мелочные претензии местной братвы. Огромный, почти двухметрового роста человечище, насмешливый и хитрый, он славился на всю зону своими наглыми высказываниями и выходками. Он заворачивал блатным вместо анаши какую-то дрянь, у всех на глазах здоровался с ментами за руку, с его языка не сходила разная провокационная педерастия, и его пытались, конечно, бить, он сам с шутиливой гордостью говорил: «У меня было восемнадцать боев!», но из этого ничего не получалось. Он либо раскидывал рассерженную братву, либо «раскидывал рамсы», то есть забалтывал всех и поворачивал дело в свою пользу так, что начинающая, неопытная шпана просто разводила руками. Мне рассказывали, как за несколько дней до освобождения его спросили, почему он не ходит в столовую. На что Бутор во всеуслышание, буквально на весь сектор заявил, что там жрут одни педерасты.

Я столкнулся с ним в последний день его срока. На лестнице он окликнул меня: «Эй, писюк, у тебя что, „амбара“ нет? Завтра я „откидываюсь“, приходи, я тебе свой оставлю.»

На следующий день, когда Бутора уже не было, я пришел в его проходняк. Там сидели какие-то люди и грустно на меня смотрели. Я был то ли шестым, то ли восьмым, кому Бутор оставил свой «амбар».

Страшно мне не везло тогда с этими тумбочками.

Прошло совсем немного времени, как у кое-кого созрели на меня планы.

В один из моих приходов Стас глумился над нами с Мельником из-за того, что мы, безвольные букашки, видите ли, курум. Мол, мы слабаки, тряпки, ничтожные рабы привычки, с которой при всем осознании, справиться не можем, а он кремень, он скала, он волнорез, он сказал себе: «Стас, ты больше не куришь.» и все, как отрезал. Мы были пристыжены.

В этой беседе у Мельника рождается идея заключить пари на сумасшедшую сумму, выплачивать которую придется тому, кто первый закурит. То есть мы с Мельником решили таким образом завязать с вредной привычкой. Стас смеялся над нами, совершенно справед-

ливо утверждая, что, как только у нас начнут «пухнуть уши», мы прибежим друг к другу и аннулируем пари к чертям собачьим ради одной затяжки. Что ж, это могло произойти, и мы это понимали. Тогда Стас великодушно предложил нам свои услуги. Скажем, спор на сто пачек сигарет и проигравший отдает их сопернику в течение недели, но не только ему, а еще сто пачек, свыше ставки, посреднику. Посредник, конечно Стас. При таком раскладе договариваться нам с Мельником получалось просто бесполезно, потому что ставку все равно отдавать.

Сто пачек, а тем более двести – это действительно сумасшедшая сумма, так как в ларьке, где товары отпускались по безналичному расчету, существовал лимит на сигареты, если я не ошибаюсь, пачек десять на месяц. В общем, поспорили.

Проходит два дня. Я, как обычно, стою опиливаю игрушку. Голова кружится, картинка перед глазами дрожит, я к тому возрасту уже года четыре курил, и ломало меня по полной программе. И вот, смотря, идет ко мне Мельник. Страдальчески улыбается и покачивает головой:

- Как же это мы так!? Что же это мы наделали!?
- Да, – говорю, – лоханулись мы, Мельник.

Мы постояли, погоревали, обоим нам курить хочется, а договориться мы не можем.

Мельник, видя, что, как и он, я не демонстрирую фанатичного рвения к здоровому образу жизни, решается на отчаянное предложение. «А пойдем, – говорит – покурим. Спрячемся от Стаса где-нибудь и выкурим по сигаретке. Ну, по одной, чисто ломку сбить.

Естественно, один я бы ни за что не стал прятаться, но тут, имея в союзниках Мельника, мне показалось это безопасным. Я согласился. Мы пошли на «гальванику» Мельник угощает меня сигаретой, а я достаю спички. Даю ему прикурить первому и начинаю над ним по-идиотски ржать, мол, вот, Мельник, попал ты, закурил первым – значит, проиграл. Я, конечно, шучу и через секунду закуриваю сам.

Покурили мы с Мельником и разошлись по рабочим местам.

Буквально часа через два Мельник приходит снова. Лицо красное, стоит мнётся «Влетели мы с тобой, – говорит. – Я, конечно, виноват, но Стас, сам знаешь, акула еще та» – и далее чертыхаясь и извиняясь, рассказывает, как Стас подошёл к нему и сказал, что все знает, что он якобы этого безмозглого (меня то есть) на пушку взял, и я ему все выложил, что курили, что на гальванике, ну и...

– Ну и – плачет Мельник, – я тоже раскололся и только после понял, что Стас не тебя, а меня развел как ребенка.

Именно на этом самом месте пелена благодушия сошла с моих глаз.

Я все понял и не на шутку испугался. Но еще больше я разозлился. Я был так возмущен тем, что они избрали меня своей жертвой, что ни за что на свете, вопреки всей очевидности, не захотел проигрывать. Пока спасительная мысль не пришла мне в голову, я крыл Мельника трехэтажным матом. Но уже скоро спокойно сказал: – Бедный Мельник, мне тебя жаль, теперь ты должен и мне и Стасу по сто пачек, – и уже совсем жестко добавил, что, если Стас, как его друг, может, и подождет, то я ждать не буду, неделя – и точка. Мельник заморгал на меня в недоумении, и я объяснил: – Какой уговор был? Платит тот, кто первый закурит, так? Так.

А кто первый закурил?.. – я показал Мельнику маленькую пантомиму, изображая, как я даю ему прикурить.

Мельник не мог в это поверить.

– Что?? – кричал он. – Из-за спички?! У тебя крыша поехала!»

Через какое-то время, высокомерно посмеиваясь, появляется Стас. Мельник передает ему мою безумную отмазку, и плотоядная улыбочка Стаса сходит на нет. Они вдвоем, уже совершенно не скрывая своей общности, набрасываются на меня. Доказывают, угрожают, смеются, но, так как это был разговор уже не о девушках и цветах и я, как минимум, на год мог забыть о ларьке, я еще с большим упорством стою на своей «спичке». Короче, решили вынести все на «базар», привлечь блатных.

Каптерка, кроме того, что была доверху набита нашими баулами, еще частенько служила местом, где каждый из нас мог в уединении и одной рукой полистать скабрезный журнальчик. Сумеречное помещение, два на два, было вечно забрызгано и усеяно клочками бумаги. Шныри не успевали убирать. Вечерами можно было видеть, как у решетчатой створки толчется народ, образовывается очередь, подходят еще люди, спрашивают: «Что за сеансы? Вчерашние?» или: «Чьи сеансы, с кем базарить?»

«Сеансы» – это порнографические карты, журналы и прочая подобная литература, кстати, увиденная мной впервые именно за колючей проволокой и бывшая там не таким уж большим дефицитом. «Есть сеансы, пойдем передернем» или «пошкурим» или «лысого погоняем», «гусака помучаем», все это звучало просто и обыденно, как «пойдем покурим». И мы шли, выстраивались в очередь, причем по выходу обменивались впечатлениями: «Чума, такая жопа, такие буфера!», словно к каждому с журнальной полосы сходила его старая знакомая.

Но что это я? Я же, собственно, не об этом собирался. Дело в том, что у каптерки было еще третье предназначение. Там устраивали разборки. «Рамсили», «базарили» и в итоге обязательно кого-нибудь избивали. Мне, Стасу и Мельнику плюс кучке злобных «присяжных» предстояло сесть в кружок среди шлепков и клочков бумаги и решить, кого из нас следует помутузить за нежелание отдавать долги. Произошло это примерно так. Тогда авторитетом у нас в отряде был Грузин, его последнее слово. Он и по национальности грузин, и прозвище у него такое же: Грузин. По-русски он плохо понимал, а говорил еще хуже. Это было смешно. Привычно видеть, как ответчики пытаются затянуть судебный процесс тем, что прикидываются плохо знающими русский. А здесь наоборот было. Ответчики говорили прекрасно, а «судья» ни бельмеса не понимал. Со своей свитой, там было человек пять «пацанов», Грузин слушал, как мы с пеной у рта и чуть не бросаясь в драку, доказывали свою правоту. Потом говорил: «Ээ, слушай, падажди!» – и обращался к своим клеветам: «Что они хотят, а? Я нэ понимаю.» Ему объясняли, что вон те двое хотели нагреть этого на двести пачек, а этот такой наглый, что сам хочет с них получить сто пачек. Грузин всматривался в меня злым, но уважительным взглядом и спрашивал: «Почему ты хочешь так?» И все начиналось сначала. Мы орали, оскорбляли, угрожали друг другу. Приводя всякие примеры и подбирая слова для Грузина, мы запутывали его еще больше, и с каждым кругом ему становилось все тяжелее и тяжелее нас понимать. Цирк! Наконец Грузину, видно, все это надоело, он велел нам заткнуться, сказал, что наш этот спор «порожняк», виноваты все, и каждый должен сдать на общак по пятьдесят пачек в течение полугода. Все.

Конечно, платить дань этой банде было форменным безобразием, но, что такая развязка напрочь лишена справедливости и здравого смысла, я бы утверждать не стал.

Фигура старшего лейтенанта Быковского, нашего отрядника, всплывает сама собой после Стасовой комбинации. Все они, возглавляемые Кузнецом, для которого тесное общение с отрядником было просто обязанностями завхоза, крутились вокруг Алексеича. Они балагурили с ним в отряде, иногда посиживали в его кабинете, обсасывали свои делишки: снятие взысканий, поощрения, представления на УДО, поселок, химию и так далее. При хороших отношениях с ним было о чем поговорить. Жил он где-то в соседней деревне, был средних лет, усат и как-то всегда неловок, словно чувствовал себя не на своем месте. Наивный и мягкий, он старался держаться сурово, получалось, конечно, плохо, поэтому зачастую какой-нибудь зек после улыбчивой беседы с недоумением узнавал, что его, например, лишили передачи или свидания или вообще «скатывай матрац, пошли в изолятор». Что и говорить, это самый мерзопакостный вид начальника.

Как-то я сижу на своей «пальме» (помните, «это словечко было в ходу много позже на зоне») и что-то читаю. Кажется, тогда мне попался старый, изорванный учебник химии, и я за неимением другой литературы и согласно своим гуманитарным склонностям выбрал раздел «Благородные газы». Я в него медленно вгрызался, добросовестно пытаюсь понять, в чем же их благородство, а рядом со мной покачивалась фуражка Быковского, который с отвратительным своим внутренним несоответствием придирился к «моим» ширпотребщикам. Существовало множество дурацких правил: курение в отряде, форма одежды, вид спального места, наличие кипяtilьников, заточек – все это служило объектом для препирательств и поводом для наказаний. Шла какая-то перебранка, я не слушал, и вдруг фуражка Алексеича, после характерного шлепка, срывается и, как слепая птица, бьется об решетки соседних кроватей. Сам он, видимо, кем-то увлекаемый, исчезает внизу, и подо мной несколько секунд идет потасовка, от которой все подушки, мой учебник, да и чуть ли не весь я, слетают с грохотом на пол.

«Куда, ментяра?» – окрик, после которого Быковский вырывается и бежит сломя голову из барака, похожий на мальчика, одевшего военную форму. За ним бегут двое, но, по всей видимости, не для того, чтобы догнать. Тут же они возвращаются. В отряде стоит мертвая тишина.

Событие, надо сказать, из ряда вон, позже я редко слышал о таком, а уж свидетелем был только однажды. Через несколько минут в отряд приходят Рысь и Цапля, эти забавные прозвища принадлежали операм колонии. С большим опытом, серьезные, хитрые ребята, и позади них, как за спинами родителей, идет побитый Быковский, ищет глазами свою фуражку и с неистребимой бездарностью вновь пытается казаться суровым.

Дальше все коротко и спокойно. Рысь и Цапля вежливо попросили драчунов собрать вещи и вывели их, не проронив больше ни единого слова. С тех пор я пацанов не видел.

Нет, с ними ничего плохого не произошло, просто до своего освобождения они сидели в изоляторе.

Ворота механички с началом рабочего дня настежь распахивались. Я их так часто открывал, закрывал, что прямо слышу, как они скребут оббитой понизу резиной по асфальту. Уже вовсю светило солнце. Народ ленился, тихо радовался, и те, кто приноровился быстренько выполнять норму, остаток времени нежились на пяточке перед цехом. Сидели в рядок, на корточках, прислонившись спиной к воротам.

Там однажды я увидел стоящего в стороне высокого парня. Он поставил ногу на какой-то выступ и на высоте двух метров десяти сантиметров (это точный рост., его я узнал года два спустя) задумчиво курил. Ни дать ни взять Чайлд Гарольд на круче водопада. Козырек «пидорки» (это наши казенные бейсболки) был надвинут на нос, да еще приспущенное веко одного глаза. Все это заставляло его задирать голову, что на его «верхотуре» выглядело умопомрачительно надменно и сказочно. И держался он отчужденно, даже презрительно. Конечно, мы с ним были в одном отряде, но я не помню его до этого момента. Видимо, нужно было встать в позицию.

Я тогда к нему подошел, попытался познакомиться. Сказал, наверное, что-то типа «Вот, солнышко-то фигачит, да?», но он лишь посмотрел на меня сверху вниз, швырнул окурок и вернулся в цех.

Так произошла моя первая встреча с Устином.

Вот еще к мелким моим происшествиям. Впрочем, из которых и состояла вся жизнь. После каждой рабочей смены мы, отряд за отрядом, проходили через душ и одевались в «чистое». Душ был длинным коридором с протянутыми под потолком трубами и множеством торчащих из них кранов. Включалась вода, образовывая две прозрачные бурлящие стены, между которыми шел строй голых мужиков, постукивая по кафелю деревянными шлепками. Набивались мы туда плотненько, но каждый за многие годы привыкал к своей «лейке», и таким образом все, не мешая друг другу, выстраивались по местам.

Там стоял посередине железный каркас в виде табуретки, только гораздо больше и очень тяжелый, килограмм тридцать. Когда забивался кран, каркас поднимали над головой и били по трубе, пока вода вновь не начинала разбиваться в брызги о плечи и головы моющихся. Я много раз это наблюдал, вздрагивая от гулких ударов.

Как-то и надо мной затрепыхался капризный ручеек. Я деловито направился к железной табуретке, с трудом ее поднял и, как я это видел, стал долбить по крану. Пока каркас был над головой и держал я его спиной и всем телом, было еще терпимо, но вот я промахнулся, и весь вес этой тяжелой махины переместился на почти вытянутые руки.

Я ведь сказал, что мы туда «набивались», то есть стояли плечом к плечу, рядышком, да? Ну вот. Каркас опустился на голову рядом стоящего. Прямо железным углом, всем своим весом, конструкция врезалась в темечко незнакомого мне зека, и тот, весь окровавленный, рухнул на пол с выражением прерванной задумчивости на лице. А я замер над ним голый и в ужасе. А все, с мочалками и намыленные, уставились на меня.

Все всё поняли. Раненого вынесли и привели в чувство в раздевалке. Я подошел потом, извинился, но он только отмахнулся от меня, видимо, мучаясь от последствий сотрясения.

Забавно то, что все последующие дни, когда я мылся и слышал эти удары, я исподволь поглядывал на того мужика. Он всегда оборачивался и напряженно следил за каркасом.

После отбоя, который был в десять часов, смотреть телевизор не разрешалось. Но ведь это самое телевизионное время! Делали так: естественно, везде выключался свет, а окна телевизионки, чтобы с вахты не был замечен голубой огонек, занавешивались одеялами. Но менты ночами делали обход, и поэтому на окна выставлялся «расходчик», который иногда полночи был вынужден смотреть в просвет одеял на вахту. За это ему собирали по пачке сигарет в месяц, и, учитывая, что в отряде больше ста человек, выходил неплохой заработок. Эти «больше ста», например, когда боевичок какой, или Тайсон дерется, практически сидели друг у друга на головах. «Расход!» – орал постовой, и тут начиналось невообразимое. Времени минута, от силы две, людей вон сколько, а дверной проем стандартный.

ДПНК с помощниками входит в барак с фонарем, и луч света выхватывает бегущие ноги, взмывающие одеяла, стоит скрип кроватей и тихая ругань. Прямо жизнь летучих мышей. Во мраке телевизионки груда сваленных стульев.

Много смешных мелочей случалось в ходе этой «зарницы». Порой бывало так, что расходчик засыпал. Кто его там видит в темноте? А он преспокойненько себе уже спит, потому что месяц вот так просидеть ночами, а утром ходить на работу – штука непростая. Как-то мимо спящего расходчика прошел Трактор (ДПНК), никем не замеченный прошмыгнул в телевизионку, сел где-то в первых рядах и даже тихонечко спросил, что, мол, показывают. Тут, как в старой комедии, немое изумление, самые смешные минуты замешательства.

Запомнился мне Давид, армянин. Чудаковатый парень безуспешно пытающийся заслужить уважение своих земляков. Он с ними проводил время, чифирил, они ему помогали, но было видно, что над ним смеются и всерьез не воспринимают. Давид и пыжился. Пытался как-то себя поставить и собственно этим он и выработал у меня определённый рефлекс, некое пренебрежительное отношение к «армянским наездам». Только меня одного он раз семь или восемь вел на коптерку якобы драться. Поначалу я действительно нервничал и напрягался, но где-то уже с третьего раза сообразил, что Давиду надо лишь показать мне указательный палец, спросить: «Что ты сказал?», еще спросить: «Кто ты такой?» – и все.

Я ему отвечал, он еще грозил мне пальцем и выходил первый. Грозный, как туча, и с таким видом (главное, чтобы все видели), словно от меня остались одни воспоминания и останки, разбрызганные по коптерке.

Обычно я смеялся, шутил, хлопал его по плечу, и наконец, он понял, что представление не действует и расслабился, сдулся, оказавшись веселым, наивным парнем. Армянином с тоненьким идиотским смехом и характерным для них восточным обаянием. Мы стали добрыми приятелями.

Со своими он никогда не был агрессивным, но все же иногда я видел, как Давид опять ведет на коптерку какого-нибудь вновь прибывшего зека, весь такой величественный и грозный, как армянский бог.

Вторая встреча с Устином.

Он вырос передо мной в центре барака. Я шел с банкой набрать воды. В отряде я его почти не видел, он всегда торчал в своем проходняке и лишь изредка проплывал вдали, как жираф на горизонте. А тут возник. Длиннющий, узкие плечи, широкие бедра, голова маленькая-маленькая и еще этот травмированный глаз. Монстр. Совсем не Гарольд при ближайшем рассмотрении. Он обратился ко мне по имени, и речь его была более чем необычной. Особенно если учесть, что мы были незнакомы вовсе. Он сообщил мне, что наблюдает за мной вот уже длительное время и приходит к выводу, что я не совсем понимаю, где нахожусь. Я, мол, слишком легкомыслен, беззаботен, безмятежен – одним словом, расбиздай и очень рискую. Он просил меня быть осторожным, поскольку, по его мнению, тысяча глаз только и ждет повода, а тысяча зубов – жертвы.

Что тут скажешь? Я был ошеломлен. Не зная, что и думать, я лепетал: «Да, да, спасибо» – и, так и застыв с банкой, смотрел, как Устин уплывает к своему горизонту.

Сразу скажу (хотя тогда-то, конечно, не знал), что тут нет никакой интриги. Тут впервые проявился Устин. Несчастный и добрый, которого я знал впоследствии многие годы.

– Ну, ты и придурок, – говорили мне Стас и Мельник. – Никто бы не заставлял тебя отдавать, мы так, «ради искусства». – Конечно, рассказывайте, – насмешливо и почти победоносно отвечал я.

Мы не поругались. Скорее наоборот. Стас, поскольку не курил и имел запасы, помог нам с Мельником расплатиться, и мы втроем даже стали намечать следующую жертву. Помню, на примете у нас был армянский отщепенец Давид. Но все как-то заглохло. Мельник ушел на УДО, Чижик, который крутился всегда вокруг нас, уехал на поселок. Кузнец, Стасов покровитель и друг, освободился, а самому Стасу оставалось всего ничего, он перестал ходить на работу и тяжело переносил (как это часто бывает) последний резиновый остаток срока.

Он все подытоживал, размышлял, планировал, и единственным, кто должен был ему внимать, оказался я. «Свободные уши», как говорили. А еще типичная картинка: рядом с освобождающимся всегда находился кто-то, кто брал на себя груз последних излишеств в расчете получить что-нибудь в наследство: спальное место, проходняк, тумбочку. Да, не скрою, были и у меня такие надежды. Но быстро рассеялись. Стас слишком долго сидел, имел кучу обязательств, и все его имущество давно было распределено. Так что все вечера напролет, слушая Стасовы рассказы, я проводил примерно по той же психологической схеме, что и он с Мельником, желая меня надуть. Сначала да, потом «ради искусства».

Много чего поведал мне Стас в последние дни.

Но самым интересным было, конечно, про Чижика.

Войдя в сектор и двигаясь вдоль барака, минуешь маленькое окошечко в каморку завхоза. Стас, возвращаясь с работы, как обычно, намыливался к Кузнецу посидеть, потрещать, попить чайку перед проверкой и как-то, чтобы возвестить о своем приближении, заглянул в это окно.

Естественно, ни о чем не догадываясь, сделал он это шумно. Его сразу заметили. Но того, что он увидел, было достаточно. Кузнец, со спущенными штанами и развалившись на своем топчане, «наслаждался Чижиком», то есть сурово вкушал все те сексуальные удовольствия, которые тот мог доставить завхозу, не раздеваясь. Мгновенно Кузнец подорвался и заорал на Стаса: «Ну-ка иди сюда, живо, сюда иди, я сказал. Ты, че заглядываешь? Куда ты, сучонок, свое жало пилишь? Иди, иди сюда, снимай штаны» Стас оторопел, испугался и не успел опомниться, как Кузнец заставил его сделать с Чижиком то же самое. Чижик-то, главное, был покорен и тих, как девушка, и преспокойненько продолжил процесс, даже не вставая с колен.

Тут надо сказать, что в Стасе не было ничего патологического. Этого беспросветного цинизма, который позволил бы ему это сделать, не моргнув и глазом. К тому же законы воровские сидели в нем, уличном, глубоко. Он не был разочарован, и, если говорить о чем-то серьезном, он с юношеским увлечением и совершенно искренне пытался быть справедливым и рассуждать строго «по понятиям». Вся эта история с Чижиком его потрясла. «Что я мог сделать? – говорил он. – Я обосрался, как последний... А потом уже поздно. Что бы я сказал? Прежде, чем поднять базар, решил воспользоваться моментом, да? А с Кузнецом попробуй. Я бы еще и крайним остался.– он снова фыркал, как кот, и горько восклицал: – И с этим, я должен был чифирить, общаться! А пикнул бы. Кузнец бы меня живьем сожрал!

Я в это и верил и не верил. В общем-то, все сходилось. Если это была правда, то Кузнец, конечно, был великолепен. Оставить педика шнырем, который ходит на заготовку, кормит отряд, такую свинью подложить всем этим жуликам, всей этой, видимо, опостылевшей ему системе. Круто!

Не думаю, что наша зона была красной (кто в наше время незнаком с этими градациями). Не черной уж точно. Серой, да. Я бы сказал, плохо сбалансированной серой (если все же кто-то еще не в курсе, скажу, что речь идет о балансе административных и уголовных сил). Поэтому иногда к нам привозили этапы из других зон. По разным причинам. Например, на красной зоне бунт и всех «козлов» или часть особо рьяных эвакуируют, как членов царской семьи в народную смуту. Или наоборот: зона настолько чернеет, что для сохранения хоть какого-нибудь контроля ее сокращают либо вовсе расформируют. В последнем случае, понятно, народец приезжает забубенный, навороченный, и пополняет ряды наших жуликов.

Таким был казахский этап из павлодарской зоны. Но вместо того, чтобы радостно слиться с нашей братвой, павлодарские пацаны выразили свое недовольство по поводу некоторых нюансов местного уклада. В частности, им показалось, что в столовой тарелки из «петушатника» и с «общака» моются в одной мойке и первые никак не отмечены – «некоцаные». А это не по понятиям, это вообще черт знает что, и вся зона через это «зафаршмачена» и все ее представители в лучшем случае «черти», не имеющие никакого веса в уголовном мире.

Страшное обвинение. Нестерпимое. Ну, их всех и «выбили». Это проходило как термин, означающий выбивание из «правильных пацанов». Павлодарцев всех или почти всех побили, и они рассредоточились по отрядам колонии в непонятном для себя статусе, затаив обиду и с расчетом поквитаться где-нибудь на пересылке или на воле. Это произошло за месяц до моего появления. В нашем отряде с этого этапа находились Петруха, Солдат, Бобер и Хохол. Все русские (за исключением Хохла, который – казах), потомки репрессированной интеллигенции и немецких переселенцев. Правильные, принципиальные и склочные. Как так получилось, не помню, но я с ними подружился и у меня теперь был свой «колхоз».

Да, кстати, и тумбочка, наконец, появилась.

Молодой с Бутырки, несмотря на весь свой уголовный типаж, был просто по-человечески талантлив, проявляясь в самых различных областях, ярко, самобытно, неповторимо, не всегда, кстати, и эффективно. Бокс был лишь одним из многих таких проявлений. Новый же талант, с которым мне довелось столкнуться, был совсем иного рода. Бойцовское дарование у Пепса шло от великого животного страха, какой-то африканской физиологии и неистребимого инстинкта выживания. Физиология была налицо: коренастый, широкоплечий, выносливый и смуглый, как цыган. Инстинкт проступал в его панической боязни всевозможных колюще-режущих предметов: он боялся их, как киплингские звери стального зуба. Что же до великого животного страха, то у меня была возможность «интервьюировать» незаурядного бойца многие годы, и однажды Пепс мне признался: «Я так боюсь, что меня ударят, прямо мочи нет, так сильно, что стараюсь опередить.»

Да, еще его азарт, веселость в бою, искрометная и злая, и страшная, какой веселость в принципе не может быть, если она не горит на страхе.

Первые дни нашего знакомства мы пробовали друг на друге силы- Возились как дети. Постепенно Пепс выбивал из меня, как пыль из матраса, уверенность в том, что я чему-то научился у Молодого. Он был нестерпимо жёсток даже в этой возне, но я по своему обыкновению упорствовал и не признавал превосходства. Даже когда мы спаринговались по корпусу, но в полную силу и я изнемогал и ходил весь в синяках и растяжениях, не признавал. Сдался я, лишь когда мы дошли до настоящею поединка, полный контакт, без перчаток, без правил, то есть просто намеренно подрались. Представление мы устроили на «игрушке». Правда, недолгое. Бой длился, стыдно сказать, секунд пятнадцать. В один из моих самоуверенных выпадов Пепс опередил меня своей «колотушкой», и все – во всем моем существе выключили свет. Поднявшись с пола, оглушенный, я еще долго слушал описания всех присутствующих (Петруха, Солдат, сам Пепс) моих нелепых телодвижений в ходе нокаута. С того момента наше соперничество прекратилось. Пепс, оставаясь, впрочем, моим другом, отныне искал себе более могучих противников.

А познакомились мы недели за две до этого. За «механичкой», между цехом и забором (естественно, с колючей проволокой, разделительной полосой, путалкой, электрическим током, пятиметровой сеткой, вышкой с узбеком-автоматчиком) шла длинная дорога на задние дворы рабочей зоны. Туда свозили мусор. Рядом с дорогой был небольшой газон, заросший травой, репейником и цветущими одуванчиками. Я лежал в этой траве, как кот, инстинктивно выбирая витаминизированные травинки, а рядом примостился смуглый парень, очевидно, этапник. Мы разговорились. Узнав, что он сидит уже два года и переведен с малолетки, я предложил ему посмотреть на сады близлежащего поселка с очень удобного места. Я знал такое место. Мы прошли на задний двор, забрались по пожарной лестнице на цех и под любезное нерадение человека на вышке, любовались деревней. Серыми крышами домиков, старухами, копошащимися на огородах, бельем, вывешенным на улицу. Все это сквозь белые облака цветущих яблонь.

Глава III

Неделю в первую, неделю во вторую смены, чередуясь с восьмым отрядом, все лето мы проработали на «игрушке». Местечко не пыльное, работа нетрудоёмкая и примитивная. От этого наша бригада, человек из тридцати, на две трети состояла из блатных. Они старались не работать, через раз выполняли норму и по очереди отправлялись за это в изолятор. Ещё они постоянно «мутились», то есть устраивали забастовки по всякому поводу: простыни рваные раздали, напильники не привезли. Всегда были простыни, хотя пару раз всё же низкие расценки и завышенные нормы. Они садились на корточки между верстаками и, пока к ним вызывали ДПНК, шумно обсуждали проблему. Они кричали: «Беспредел! Рваные пелёнки, мутимся, менты гайки закручивают, кислород перекрывают!» Мне это нравилось. Я лежал обычно на верстаке или шёл гулять, радуясь тому, что не надо работать.

Но однажды, вот убей – не помню, по какой причине, мы всей нашей компанией: Петруха, Солдат, Бобер, Хохол, я и Пепс – выступили в роли штрейкбрехеров. Вшестером мы сурово и вызывающе сдирали заусенцы с машинок под злые взгляды опять замутившихся блатных.

Наверное, всё-таки не однажды. Помню, как ко мне подходят разные жулики и спрашивают, почему я «не мучусь». На что я выдаю заученную формулу моего суверенитета. Формулу, похожую там, на кубики льда, которые подбрасываешь в кипящую коллективную чашу: «Я не считаю это нужным». Мне многозначительно и угрожающе говорят: «Ну ладно, давай, давай» и испаряются. И ничего не поделаешь. Потому что я не нехочу, не наплевал, не заодно с теми, а «не считают нужным». Чудесная фразочка. То и дело раздающаяся там, как короткие гудки в телефонном разговоре.

А компания моя теперь такая. Солдат – весёлый квадратный мужичок лет сорока. Он сыпал разными прибаутками, которые все, конечно, позабывались. Разве что: «Солдат, но ведь рано ещё» скажем, идти куда-нибудь. «Рано? Смотри, какая рана, а то и шапкой уй прикроешь». Такого рода каламбуры он выдавал ежеминутно, но вот эта «рана» только и запомнилась. Ко всему Солдат оказался ещё предприимчивым и изобретательным. Ассортимент ширпотреба, которым по всей зоне подрабатывали зеки, за многие годы устоялся, и нового не появлялось: макеты различного оружия, цепочки и кулоны из промышленного серебра, одежда, ну и пожалуй всё. Солдат стал изготавливать нечто вроде гравюр или мозаики из посаженной на клей проволочной стружки разного металла и соответственно цвета. Это было новшество.

Петруха – его друг и извечный оппонент. Солдат, мужик во всех отношениях, трудоголик и куркуль, часто его раздражал. Тридцатилетний недоросль, баловень судьбы (смешно это звучит для человека, сидящего в тюрьме, и всё же) лентяй и циник, смотрел на все места и компании, которые ему преподносила жизнь, насмешливо и желчно. Высокий, с породистым продолговатым лицом, правильными чертами и высокомерно ехидными манерами. Он был красив, но когда они ругались с Солдатом, и на его шее набухали вены, и бледное лицо неестественно заострялось, походил на крысу.

Хохол – казах с Чуйской долины. И он сложил для меня типаж «казаха с Чуйской долины», непонятный, чужеродный наркоман, хитрый и подловатый. Шпана с интровертным наркотическим шармом. Хохол обладал рядом уличных дарований: скрипел больными суставами и на спор мог выпить трёхлитровую банку воды залпом, чем, собственно, иногда и промышлял. Молодой, лопухий, беспрестанно что-то вынюхивающий, и у кого-то что-то

выкруживающий. Петруха и Солдат его недолюбливали. Когда Хохла укоряли за какое-нибудь очередное мелочно-алчное устремление, он обыкновенно отвечал: «Запас в жопу не епёт».

Бобёр был загадочной личностью. Большеносый, нескладный, он был молчалив и замкнут до крайней степени. Попав на зону, он сразу принялся делать разные цепочки и кулончики, а когда удавалось достать материал (эбонит и нержавейка) – стiletы, к стремительным узким клинкам которых явно питал слабость. Всегда и везде, и на рабочке и на жилой секции, он сидел мешком и над чем-то корпел. Он был приветлив, забавно шурился и взрывался неадекватным гыканьем на всякую нелепую шутку, но при этом он всё равно что-то обязательно зашкуривал, зашлифовывал и затачивал.

Бобра уважали. На воле он кого-то убил, здесь постоянно сидел в изоляторе за свои стiletы и за всю жизнь не сказал лишнего слова. В моих глазах он так же вызывал восхищение и интерес, но вот что отложилось с тех времён. Как-то Петруха, в наших затяжных философско-психологических беседах, высказал, по своему обыкновению, одну крамольную и ехидную мысль: а что, если Бобёр пуст, как барабан? Ограниченный тип с замедленной реакцией и эмоциональным дефицитом. «Пшик» – и Петруха выпятил нижнюю губу и развёл руками. Всё это, конечно, никому не известно. Но такая возможность, вероятность такого обескураживающего открытия в людях меня тогда очень удивила. И, главное, засела глубоко. А как я теперь могу заметить, и надолго. Что ж, вряд ли Бобер ещё всплывёт в моём повествовании. Я с ним на самом деле и двух слов не связал. Но надо помнить, что на протяжении всех дальнейших событий он либо сидит в изоляторе, либо сидит рядом, что-то зашкуривает и шурился.

Пепс! Наконец я добрался до этого африканского исчадия, которое с каждым месяцем всё расходилось и расходилось. Притянув его за собой в казахскую компанию, я сослужил всем, конечно, медвежью услугу. Если вспомнить этапные разборки, упомянутые мной, то понятно, что отношения у павлодарцев с местной братвой и без того были натянутые, а ещё Пепс. Он эпатировал и провоцировал всех вокруг себя. Казалось, что его существом управляет только одна движущая сила, проверяющая на прочность не себя, к себе как раз Пепс относился с какой-то первобытной, животной любовью, без зазнайства и гордости, а всех. Всех, кто хоть мимолётно осмелился козырнуть выправкой и готовностью постоять за себя. Главным раздражителем для Пепса являлась самоуверенность. Тогда его забавляла одна история: я уж не помню, то ли он сам видел, то ли ему рассказали, но это было про парня, который, трусливо уклонившись от чьей-то невинной жестикующей, сказал примерно следующее: «Поаккураатней, я боксом занимался, реагирую легко.» Пепс повторял эти слова презрительно и с преувеличенно московским акцентом на «а» всякий раз, когда хотел дать характеристику очередному понторезу. Он и моделировал эту ситуацию постоянно. Невинная жестикующая постепенно превращалась в такое же невинное и шутовское избиение. Естественно, при таком раскладе Пепс ненавидел наших дутых уголовных «аристократов». Они ходили тщедушные, сутулые, потрескивали чётками и разглядывали его испытывающим и настроженным взглядом, а он им чуть ли не язык показывал. Он делал им всё назло. Нужно было не работать, Пепс рад был работать, сдавать на «общак», он демонстративно не сдавал, они попрытали неправильные слова, он вынул эти слова и сделал для себя просто обыденным лексиконом. И всё это с архаичной энергией и азартом. Прийти к Пепсу и не сказать: «Дорогая, давай я тебе засажу» или не послать его на уй (страшное там ругательство) теперь казалось дурным тоном, позорным осторожничанием и трусостью. А Пепс был в восторге, если это кто-нибудь слышал, отчаянно хохотал, хватал тебя за задницу или по-дружески бил по печени.

От всей этой возни и «педерастии» Петруха, например, приходил в ужас, Солдат криво ухмылялся и неохотно и неловко подыгрывал, но Пепс не настаивал. Как настоящий дикарь, он уважал возраст и склонялся перед интеллектом, меня он отчислил к разряду психопатичных «поэтов» (беру в кавычки поэтов), а вот бедного Хохла «загонял по клетке».

В жёлтом свете безоконной мастерской «игрушка», на оббитом железом полу цвета грязного серебра, по периметру и в центре стояли железные столы – верстаки. Даже высокие табуретки возле них были железными. Всё это тускло бликовало в лампочках, и только под самым потолком находилось вентиляционное отверстие. Круглое пятно, днём заполненное синевой неба, а ночью редкими звёздами. Мы под ним вчетвером, в рядок, как за прилавком. Солдат любовно собирает свои мозаики, Бобёр калачиком что-то шкурит, а мы с Петрухой стоим в полный рост и пилим игрушку, все в матовой металлической крошке. Напротив, на железном насесте – Хохол, а вокруг него крутится Пепс. По мастерской, то тут, то там, с короткими и неправильными интервалами раздаётся клацанье падающих в ящики машинок.

Пепс щиплет Хохла, дёргает его за уши, прижимается к нему, лапает, проговаривая всякие скабрёзности. Когда Хохол пытается отмахнуться, тут же получает мощные сушащие удары по бёдрам и плечам. Пепс очень жестко и больно умел это делать. В конце концов, Хохол выходит из себя и хватается за напильник. Пепс удирает, как папуас, подпрыгивая, с визжащим натужным хохотом. Он бежит к выходу, ему в спину летят напильники, бьются о косяк и со звоном разлетаются по мастерской.

В проёме появляется *уй-Башка. Это мастер, высокий странный старик с лысым сплюсненным черепом. Рядом с ним ударяется напильник, и вся бригада начинает оглушительно ржать от такой близкой возможности попадания в *уй-Башку (надо сказать, что мастера были вольными и мало чем отличались от ментов). Пепс появляется из-за его спины, по-детски всему этому радуясь.

Виталик Петров к приходу *уй-Башки (ещё был Иваныч, контролёр, тот в форме, маленький, с жабым лицом и огромной бородавкой на губе), в общем, к их приходу Виталик ставит кипятить банку чая. Это своего рода обычай. Все завхозы, бригадиры и прочая козлиная братия во всех кабинетах, каморках и производственных помещениях угощали ментов чаем. Причём последние, приобрели к этому абсолютно тюремный вкус и жадно спрашивали, к примеру: «А с конфеткой?», несмотря на то, что недавно пришли на работу из дома.

Виталик выходит в мастерскую и кричит: «Пойдём чифирить», все набиваются в его хлабуту, садятся на корточки и гоняют кружку чая по кругу. На стуле сидит *уй-Башка, пьёт из отдельной чашки, отдувается и покусывает соевый батончик.

Когда сидел Иваныч, то развлекал всех разными историями, так как работал на зоне лет двадцать. Вот о сидящем в старые добрые времена «медвежатнике».

«Маленький такой был, щупленький, соплёй перешибёшь, грязный ходил, как чмошник какой, но мастер был, ничего не скажешь, чё-то такое знал. Один раз у Березенко дверь заклинило, ну вот эту вот, железную. Мощная дверь. Послали за ним. Ночью, представьте, на рабочку вывели, там опера, ДПНК, все, в общем, подвели к двери, он им – отойдите, ха, ха, отвернитесь, мол, чё-то там такое, тык, тык, меньше минуты – и дверь нараспашку, а там замок-„пилка“ и ещё обычный, тык, тык, меньше минуты! Чё-то такое знал! А вороватый был! Березенко его вызовет, он постоит три секунды в кабинете, уходит, раз – пепельницы нет. А ну давай его

сюда. Ничего не знаю, не я. Уходит. Опять чего-нибудь нету. Ну, чмошник..да-а! Но вот замки, да-а. Чё-то такое знал!».

Иваныч смотрел на стенку напротив себя. Там висел плакат. Первая фотография Мерлин Монро, где она, обнажённая, прогнулась на фоне ярко-бордовой ткани.

Идиллия? Пожалуй, это та тюремная особенность – широкая, отчаянная улыбка, в которую тюрьма растягивала лица своих учеников. Такая особенность, к которой привыкнуть было непросто и не привыкнуть невозможно. По всей «рабочке», и в механическом цехе, и у нас на «игрушке», под верстаками, за станками, по разным углам были оборудованы спальные места. Старые телогрейки, сваленные в кучу. На них в течение рабочего дня досыпали зеки, но это, естественно, возбранялось, и менты ходили и гоняли их, как зайцев по кустам. Могли наказать. Иваныч, заходя на «игрушку», и увидев спящего, преспокойненько разворачивался и шёл за ДПНК. То же самое он делал и по отношению к ширпотребщикам, делающим все те запрещённые изделия, о которых я писал. Однажды, когда я бегал от Калинина (чокнутый ДПНК, бегающий за всеми с дубинкой, я о нём еще вспомню) и спрятался на «механичке» под стол, я увидел, как Иваныч, весело высунув язык из-под бородавки, сдаёт меня своим пухленьким пальчиком. Получив пару затрещин, я возвращался с вахты и говорил Иванычу: Эх, нехорошо, сдал меня, Иваныч, с потрохами», а он так же весело и невозмутимо: «Да не в жисть, что ты?!»

В конце смены все мы приносили Виталику Петрову опиленную игрушку. В маленьких таких ящиках с двумя ручками по бокам типа военных для боеприпасов. Виталик считал машинки, с грохотом сваливал в общую кучу и заносил в журнал выполнение нормы. Или невыполнение, когда блатные с грустным видом показывали с десятков грузовичков, опиленных за целый день. *уй-Башка здесь же, при всех, переписывал не выполнивших и шёл писать докладную. На следующий день отрядник кого-нибудь вызывал и отправлял в изолятор.

И ничего, никакой злобы, никаких упрёков, и опять соевый батончик и рассказы о старинных свадьбах блатных и пидоров, и о вороватом «медвежатнике».

Как я уже обмолвился, особенно близко мы сошлись с Петрухой. На рабочке мы часами ходили взад-вперёд, напротив распахнутых ворот механического цеха, а на «жилой», когда на противоположном конце барака вся компания собиралась чифирить, именно он шёл меня звать, появляясь в проходе под моей «пальмой». Он щёлкал себя по горлу пальцем, как это делают, приглашая выпить.

Те, с кем он сидел на Павлодарской зоне, рассказывали мне странную историю. Мол, был период, когда Петруха разговаривал сам с собой, бросался на людей, а потом полез на «запретку», то есть на колючую проволоку, под дула автоматчиков. Его посадили в «бур» (изолятор длительного содержания, до полугода), и оттуда он уже вышел нормальным, словно ничего и не было. Из такта, конечно, никто с ним об этом не заговаривал, и я в том числе. У меня так это вообще мимо ушей пролетело. Ироничный и остроумный Петруха меньше всего походил на сумасшедшего. Напротив. Несмотря на то, что я не столько слушал, сколько говорил, как всегда размахивая руками, в память мою врезались эпизоды, где Петруха одним словом, а порой и жестом менял мои юношеские взгляды. Совсем ничтожные происшествия, в которых я только и запомнил Петруху из почти круглосуточного общения. Это

обидно. Во-первых, хотелось бы вспомнить Петруху поподробней, поглубже. И, во-вторых: то, что сидит во мне всю жизнь, могло бы иметь и более значительный вид, философский или поэтический оттенок, наконец. Но не мелочи же всякие.

Например: стоим мы как-то всей нашей «семейкой» перед механичкой. Конец смены, осеннее солнышко, на улицу высыпала куча народа. Я залез на трансформаторную будку и там, свесив ноги, слушаю, как кто-то что-то рассказывает. Вдруг появляется электрик (вся обслуга была из первого «козлиного» отряда) и орёт на меня: «А ну спрыгивай, куда забрался, я замучился после вас всё это перекрашивать». Я спрыгнул без тени смущения. По-мальчишески легко, как я это делал всю свою жизнь, когда меня гоняли голубятники, охранники, разные сторожа и сторожихи. Я и не придумал этому значения. Да и никто, по-моему, не обратил бы внимания, если бы Петруха не принялся надо мной высокомерно посмеиваться. «Кыш», – что-то такое с благородным чистоплюйством он изобразил пальцами, – как воробья, «кыш», с жёрдочки согнали, ха-ха». Все рассмеялись (Петруха умел артистично показать), а я вспыхнул, возненавидел его на пару минут и, конечно, не забыл огрызнуться. Но острота попала в цель. Я увидел ещё секунду назад безликого электрика, таким же обычным зеком, как и я, и ещё, что действительно похож на воробья. Вот такой пустячок возмущания.

Или в столовой. Мы сидели за длинными столами по восемь человек. В центре – пирамидка шлёмок (тарелок) и бочок с сечкой, ну не всегда, конечно, иногда перловка или щи. Каждый накладывал себе ровно один черпак, если стояла тарелка с варёной рыбой, брал один кусок. Когда освобождалось место за столом, шныри рассаживали новеньких. На одного такого я как-то указал Петрухе. Всё он делал робко, неуверенно, и садился, и накладывал – всё с какой-то подобострастной улыбочкой: «Ой, извините, ой», – всё бочком, осторожно. «Вот чмо, да? – сказал я тогда Петрухе. – Сразу видно, трусоватый и мутный тип». Петруха за столом промолчал, а потом совершенно серьёзно спросил меня: «С чего ты взял? Что это за глупость? Почему трусливый, мутный, вовсе не обязательно, ты же его не знаешь».

Кому-то это покажется смешным, наверное, но я удивился не меньше, чем в случае с Бобром. Я вспомнил Фокусника с Бутырки, наглого Чижики, плюс Пепс, чья жизнь была просто посвящена борьбе с понтами. Вот теперь этот новенький, у которого, несмотря на безнадежные манеры, оказывается, ещё остается шанс проявить себя. Всё выстраивалось. Все эти в разной мере пустячки постепенно делали мой плоский мир объемным.

Вспомнил Пепса и подумал. Мы с ним ровесники (правда, он уже два года сидел), та же чёрная дыра времени впереди, та же возрастная впечатлительность, и параллельно он, вероятно, проходил тот же период взросления, что и я. И у него были свои увлечения, один Ночной Шнырь чего стоит.

Была такая должность в отряде – ночной шнырь. Как правило, её получали за какие-нибудь тайные заслуги или покупали, потому что работа была, что называется, «не бей лежащего». Убирать ночью нечего, нужно было только не спать, подходить к телефону, да, пожалуй, и всё. Таким шнырём в восьмом отряде был один парень, имя которого, видимо, хранится в голове Пепса, так как он не был моим увлечением. Огромный такой шнырь. Мясистый, килограмм сто пятьдесят веса, с бульдожьим лицом и выпяченной вперёд губой. Ходил он степенно, прямо и был немногословен. Известен он был тем, что в его арсенале был всего один удар. Один-единственный, но сокрушительный удар, который он имел мужество продемонстрировать в тех условиях. Рассказывали, что он столкнулся с блатным в дверях, слово за слово,

и Ночной Шнырь приложился так, что, опять же рассказывали, этот блатной не мог прийти в себя часа два.

Ночного Шныря, конечно, побили для проформы (таких медведей били для проформы, опасаясь их разрушительного бешенства), и он снова ходил огромной тенью, подозрительно независимый, благополучный и одинокий (почему одиночество вкупе с благополучием мне стали казаться подозрительными, я ещё напишу).

Пепс, увидев в Ночном Шныре родственную душу, исправно к нему заходил. Что-то их связывало, и я из любопытства, и как тот дурак, которому показывают на небо, а он смотрит на палец, попытался сблизиться с Ночным Шнырем.

Помню, в секторе я к нему подошёл на правах знакомого Пепса и мы с ним где-то полчаса провели вместе. Ночной Шнырь произвёл на меня гнетущее впечатление. Он говорил тихо и злобно, и его грустные бульдозьи глаза смотрели вдаль. Естественно, он меня учил (я же писдюк), и учение это было параноидально мрачным. Повсюду скрываются опасности, каждый второй доносчик, было равнодушно жуёт жвачку, кровожадные блатные сидят в засаде. Я ретировался в полной уверенности, что Ночной Шнырь сумасшедший. Но дело было не в нём, а в Пепсе. Пепс оказался хитрей, и вот как я это понял.

Ещё с лета моё внимание обращал на себя Стефан. Он крутился с Грузином и прочими блатными. Вёл себя нагло, надменно и ходил по бараку медленной, вызывающей походкой, покручивая перед собой чётками. В проходах всегда было много мусора, зеки выбрасывали фантики, бумагу, даже «нифеля» (чайная гуща) выплёскивали на пол. Через каждые два часа шнырь со шваброй выволакивал эти сугробы.

С голым торсом, в тренировочных, Стефан проходил по мусору, как герой фантастического романа. Он был необыкновенно хорошо сложен. Олимпиец, древнегреческий бегун, с осанкой человека, заключившего с богами сделку. Длинная шея, высокая талия, мощные ноги с выраженной дугой бедренных мышц, никаких тяжёлых, сковывающих следов от гантелей и штанги. Античная конституция, одновременно воспетая и соратниками и женщинами, но современную спортивную специализацию которой определить трудно. Разве что лёгкая атлетика. После Кузнеца Стефан, объявив себя «правильным мужиком» и с поддержкой нашей жуликоватой братии, стал завхозом.

Тут есть некоторые нюансы, и я позволю себе сделать маленькое отступление. Так сказать, «рамсонуть» «по жизни». Во-первых: «правильный мужик» – это местная нелепая формулировка, некая политкорректность и двойной стандарт. Остальные, мол, неправильные мужики, то есть черти. Не хочешь быть чёртом, сдавай на общак и виляй хвостом/ будешь «правильным мужиком». Во-вторых: занять такую козлиную должность, как завхоз, безопасней всего, конечно, с поддержкой братвы, и для этого также предусмотрен своего рода политический компромисс: такой ставленник братвы, собственно, и не козёл. Я не знаю, кто он, но хороший (правильный козёл – ха, ха), выдвинутый в административные шестёрки, чтобы облегчить жизнь братве. И, в-третьих: по закону блатной не может «спрыгнуть», то есть самовольно стать «мужиком», а уж тем более «козлом», он может быть только «выбит» (слово само за себя говорит), поэтому Стефан и оказался, ко всеобщему изумлению «преисподней», «правильным мужиком». Всё это, конечно, «для прихожан». Чушь собачья. Просто кучка людей держала власть и расставляла своих на ключевые посты.

Ну, так вот. Ночью, под редкий скрип кроватей и угасающие разговоры по проходнякам, я лежал на своей «пальме» и слышал странные шумы, исходящие из телевизионки. Что-то со свистом рассекало воздух, доносились тяжёлое дыхание и шарканье ног. Это был Стефан. Ночами в одиночестве он занимался каким-то видом восточного единоборства, крутил каты, работал с ноучаками, бился с тенью. Получалось здорово, эффектно, и все восхищённо признавали его мастерство. Он считался незаурядным бойцом, хотя о реальных боях в его «послужном списке» я, например, ничего не знаю. Пепс, к тому времени фигура одиозная, тоже входил в разряд оных, с той, правда, разницей, что, в отличие от Стефана, уже успел поучаствовать в нескольких настоящих драках. Их спарринг рано или поздно должен был состояться. И он состоялся, в той же телевизионке, причём я присутствовал при этом со сладким и гордым предвкушением того, что сейчас мой друг Пепс выбьет пыль из этого надменного танцора и покажет всем наглядно, что бой с тенью – это бой за дутую репутацию.

Но происходило нечто для меня неожиданное. Стефан бешено крутил ногами, красиво выполнял все эти восточные вертушки, мельницы, развороты, с совершенно невозможной амплитудой движения, нагнал такого ветра, что мог бы затушить вокруг себя свечи в радиусе трёх метров. А Пепс ходил. Отходил, уклонялся, кланялся, как китайский официант, и делал вид, что не может его достать. Как говорят в боксе, «отбегал все раунды». Так и кончилось. Вроде как на равных. Стефан самодовольно похлопал Пепса по плечу и ушёл по своим важным делам. Я стоял поражённый и обескураженный, не зная, что и думать.

– Что это было? Ты чё его не срубил?

Пепс застенчиво мялся и расплывался в широкой и хитрой улыбочке.

– Да зачем? Пусть себе думает, а то расстроится, обидится.

– Ну ты и пидор.

Пепс, как обычно, отчаянно на это рассмеялся. Он просто не захотел портить отношения с завхозом. Польстил ему своей беспомощностью. А я почему-то чувствовал себя оплёванным, хотя ко мне вроде это не имело никакого отношения. Ну и что, что Пепс был хитрей, чем я думал? Теперь и дружба с Ночным Шнырём стала мне понятна: тот знал все «ходы и выходы», что можно купить и у кого, кто всё решает, в общем, всё закулиссе, вникнуть в которое Пепсу было необходимо, как и хорошие отношения с завхозом. Но он устраивал свою жизнь. А я нет. Я всё мечтал, пребывал в эмпиреях. Написал матушке, и она выписала мне кучу журналов. Наверное, во всей зоне я получал их самое большое количество. Я стал собирать вырезки про Гарри Гудини, ходил со всеми мерялся руками и ногами, когда прочитал о «золотом сечении» Да Винчи. Вспоминаю сейчас: «Теория большого взрыва и инфляции Вселенной», по-моему, Алана Гута. Её я также обмусоливал на каждом углу. Тогда по телевизору показали первое интервью с Майклом Джексонем в его доме, так я тут же принялся писать сам себе статью на эту передачу. На воле я не закончил даже среднюю школу. Тут я вдруг вспомнил об этом, раскопал где-то «Войну и мир», прочитал и стал писать школьные сочинения на темы, которые сам же и придумывал. В телевизионке, на откидных сидениях писал.

Кстати, Толстой, как и Петруха, тоже оставил во мне, с позволения сказать – мелочишко. В данном случае, конечно, относительно объёма произведения. Теперь, когда я вспоминаю этот роман, я вспоминаю одну мысль, поразившую меня тогда: Пьер Безухов, будучи влюблён в Наташу Ростову, как ни старался, не мог вообразить себя рядом с ней. Но это с ним произошло. Мысль эта, ничем не подтверждённая до сих пор (с годами, правда, из-за своей неподтверждённости выветривается), наполнила меня тогда смутными надеждами. Ведь всё, что я

мог себе вообразить, всё это было не то, а счастье, если и должно было случиться, то непременно невообразимое. Хорошая мысль, сладкая.

Вот этим я и занимался. Мечтал. На каторжанскую жизнь наплевал, на общак не сдавал, ни в чём не участвовал, ни во что не вмешивался. Своими друзьями и своей отстранённостью скомпрометировал себя в глазах братвы настолько, что, наверное, должен был чувствовать, как покрываюсь шерстью, и на моей лысой голове пробиваются inferнальные рожки.

Прошли лето, осень, я провёл их охваченный синдромом Монте-Кристо, незаметно и постепенно изобретая, невиданное там прежде амплуа книгочея и философа. Хорош, не правда ли, даже без среднего образования?! Петруха спорил со мной постоянно, считал, что я выпендриваюсь, и всячески старался вывести меня на «чистую воду». Я, раздосадованный, подходил к Солдату и, как папу, честно его спрашивал: «Вот скажи мне, что не так? Ты тоже считаешь, что я умничаю?» Солдат, простой, добрый мужик, откровенно мне отвечал: «Да. Понимаешь, ты хочешь показаться не тем, кто ты есть». Я расстраивался. И я не знаю, из-за этого или «синдром» имел своё развитие, но я вдруг загорелся приобрести жёсткую профессию...

Так к зиме я подался в токари.

Глава IV

Спустя много лет, уже на воле, я как-то натолкнулся в воспоминаниях Павла Флоренского на описание наждачного колеса и точильщика ножей. Увиденные глазами маленького мальчика и изображённые языком восторженного инока. Фонтан искр, бешено вращающийся камень, силуэт человека – бога, склонившегося над ним: «колесо Иезикиля», «огненные вихри Анаксимандра», «ноуменальный огонь» – картинка, которая невольно напомнила мне «механичку». Точно такими глазами я смотрел на механический цех, проходя сквозь него каждый день. Без метафизики, конечно, но с не меньшим ужасом и восторгом. Оглушительный скрежет, наполняющий пространство, звон металла, дым, искры и стружка, находящаяся повсюду, – огромные снопы разноцветного кучерявого железа или чёрно-фиолетовые осколки, рассыпанные на масляном полу. Всё это пугало и притягивало. Но главное – люди. Мне казалось, они не прозябают. Точат себе железо, окутанные дымом и пламенем, молчаливые, выносливые, и бесконечно далёкие от тюрьмы. Там и правда забывалось, что сидишь. Разговоры всё о станках, о поломках, резцы, пластины – работа тяжёлая, и во всей бригаде ни одного блатного, лишь работяги, в подавляющем большинстве своём и на воле фрезеровщики и токари.

И ещё. Помимо прочего, эта работа мне представлялась неплохой тренировкой. В цеху изготавливали флянцы и корпуса. Это такие штуки, использующиеся в трубопроводе. Флянцы, я знаю точно, мы потом из них делали блины для штанги, весили каждый около четырёх килограмм, а корпуса, детали, похожие на огромные катушки для ниток, были разными по размеру: самые маленькие – двадцать пятые, потом шли сороковые и пятидесятые. Последние, считай, два флянца плюс фигурная трубчатая ось, – где-то килограмм десять-двенадцать каждый. Поднял, зажал в патрон, обточил, сбросил, поднял, зажал в патрон, обточил, сбросил – целый день. Руки должны были превратиться в железные клешни. Я загорелся. Исполненный производственного рвения, романтизма и желания иметь возможность задушить обидчика одной рукой, я объявил Быковскому о своём решении стать токарем. Быковский обалдел. Будь я тогда попрозорливей, вполне мог бы увидеть впечатление от глупости, которую совершаю, в его изумлённых глазах. Добровольно туда никто не шёл, и Быковский, еле сдерживая смех, пафосно меня нахваливал: «Молодец, ничего не скажешь, все бы у меня так»

С первого дня началась производственная комедия.

Бригадир подвёл меня к станку, за которым делали корпуса. Станок ревел, за ним стоял человек в защитных очках, жилистый мужичок наглого вида, и по-пижонски держал ногой «штурвал» задней бабки. Бригадир стал перекрикивать станок: «Ученика возьмёшь?» Мужичок неожиданно раздражённо заорал: «Да мне это надо! Мне сегодня ещё, – он кивнул на кучу сваленных рядом начатых корпусов: „задел“, приготовленный с прошлой смены. – Ты мне пластины дашь?»

(каждую смену бригадир разносил пластины – маленькие квадратные таблетки из победита. Ими собственно и делали большую часть операций. Они постоянно горели, ломались и считались большим дефицитом).

– Да ладно, ты ему только покажи, а я потом его поставлю на другой станок. Да дам, дам, – бригадир доверительно поморщился и замотал головой, показывая, что они обо всём договорятся. Мужичок показал мне, что и как крутить, и я мгновенно врубился.

– Ну вот, быстро въехал, вот и обдирай, скобы в бардачке, мы скоро придём, – мужичок, обращаясь к бригадиру, внезапно расцвёл в иждивенческой улыбочке: «А рукавички, а чифирнуть, а с конфеткой». И они ушли куда-то наверх, смеясь и обхаживая друг друга. Я остался наедине с этой гигантской «швейной машинкой».

Изо всех сил я зажал корпус в патрон, притянул заднюю бабку и, ногой налегая на «штурвал», прижал её к корпусу, поставил резцедержатель на небольшой размер в глубину, чтобы пластина не сгорела и не врезалась в металл, и – раз, снял с окружности один слой, раз – второй слой, третий. Я только переставлял размер, водил передней бабкой и радовался тому, что всё так просто. Через какое-то время я спохватился и полез за скобой. В бардачке их было несколько, и, взяв первую попавшуюся, я стал мерить. Скоба оказалась намного меньше уже ободранной мною окружности. Я поразился, сколько металла впустую превращается в стружку, и понял, что надо бы побыстрее, а то один конец корпуса придётся обрабатывать полсмены. Приналег. Я уже освоился и машинально быстро менял размер и водил бабкой. Ржавая катушка вращалась в патроне зыбким коричневым облаком, только ободранная поверхность блестела серебряной полосой. Наконец скоба прошла и, как полагается, застряла на полном радиусе. Как раз пришли мои учителя, но почему-то по плечу меня никто не похлопал. Мужичок настолько был удивлён увиденным, что даже засомневался в том, что всё правильно понял. Он с ошалелым выражением приблизился к станку, заглянул в бардачок и внимательно осмотрел обработанный корпус: «Я чё-то не понял, ты чё сделал-то?» – он посмотрел на меня с жалостью и махнул бригадиру: «Глянь, я такое первый раз вижу» – покусывая сигарету, он выглядел озадаченным и серьёзным, но вдруг резко принялся хохотать, запрокинув голову. Бригадир ухмыльнулся, но как-то невесело. Он всмотрелся в меня и спросил: «Ты что, не видишь, это же пятидесятый корпус».

Тут у меня всё как-то прояснилось, очарование, как говорится, спало, и я отчётливо увидел нелепую и уродливую конструкцию, только что вышедшую из-под моего резца. Из патрона торчал большой пятидесятый корпус, соответственно, с толстой полрой пятидесятой осью, и вся эта ржавая пятидесятая деталь неожиданно заканчивалась маленьким блестящим колёсиком под двадцать пятую скобу. Её-то я и нащупал в бардачке.

Таким образом, на корпусах я проработал один день.
Меня поставили на флянцы.

Вот будь я нормальным человеком, встал бы себе за один из почти тридцати станков, учился бы себе потихоньку, и никто не обратил бы на меня внимания. Но история с пятидесятым корпусом разошлась. Мне улыбались и ждали продолжения. Я не заставил себя ждать и уже «выступил» на флянцах.

Когда обрабатывается лицевая сторона, так называемое «зеркало», флянец вставляется в патрон плашмя. Он толщиной от силы сантиметра-полтора-два, то есть поверхность для кулачков, для зажима остаётся очень маленькая. Работать стараешься всё быстрее и быстрее, и вероятность того, что ты криво вставишь или неплотно зажмёшь, всё увеличивается и увеличивается, а на случай, если деталь вырвет из патрона, сзади и спереди стоят защитные железные щиты.

Но ведь сверху их нет. Меня вообще нужно было замуровать в железо. У меня этот самый случай произошёл дня через два. Флянец вырвало, но как-то по-особенному, на излёте, и он полетел навесом вперёд, высоко над защитным листом. А впереди работал Афганец, здоровый парень, чья макушка маячила передо мной каждую смену, выглядывая из-за этого бесполезного защитного щита. Четыре килограмма ржавой трубопроводной перемычки попали ему куда-то в область шеи...

- Да я-то тут при чём, ну вырвало так.
- Зажимать надо нормально.
- Да я вроде зажимал.

Примерно через неделю.

Флянцы обдирали не по одному, как корпуса, а сразу по несколько штук. Их надевали на специальную болванку и вставляли её в патрон. Передняя бабка при этом велась не вручную, а ставилась на автомат. Как-то зарядил я всё это дело, поставил на автомат и стою рядом, курю. Жёлтым, дымящимся ручейком бежит стружка, пластина сама гонит волну ржавчины. Я задумался.

Вдруг раздаётся скрежет, свист, стук, искры во все стороны. Не глядя на станок, я бегу прочь. Афганец, кстати, тоже.

Мы выбегаем на проход и с расстояния смотрим, что случилось. Я прозевал. Резцедержатель заехал в крутящийся патрон. Болванка в одну сторону, все резцы – в другую, стальная ручка резцедержателя намотана на него, подшипники, на которых он крутится, – вдребезги.

Все в цеху смотрят на меня со своих рабочих мест. Бригадир выбежал на балкон.

- Так это смотря куда попадёт, попадёт в голову, всё.
- Ну, это если рожу подставить, конечно.
- Ты вон Афганца спроси, как оно, а, Афганец?

Афганец застенчиво улыбается и потирает шею. Смотрит на меня и шутливо грозит пальцем: «Ты смотри, ручку-то доворачивай, а то точно с тобой тут копыта откинешь». Все смеются, а я, так же как Афганец, застенчиво ухмыляюсь.

– Нет, а чё, в натуре, может чердак снести, вон Аникей рассказывал, на этом же станке, – кивают в мою сторону, – парнишка работал, у него вырвало как-то, и в голову, так он выскочил на проход и на четвереньках до самой инструменталки скакал, как собака, там только затих, в шоке, прикинь.

Кто-то допил последний глоток чифирия, и все незатейливые члены моей бригады разошлись по своим местам.

Дня через три у меня снова вырвало флянец. На этот раз на расточке. После обработки «зеркала» (флянец, между прочим, становится ещё тоньше и зажим ещё ненадёжней) так же вставляют флянец плашмя и, заводя резцедержатель до предела, растачивают центральное отверстие. Эта операция делается на самых высоких оборотах, а самые высокие обороты на тех раздолбанных послевоенных станках, как сейчас помню, – семьсот семьдесят семь, Три красные семёрки на шкале переключения. Я нажал кнопку, станок заревел, патрон потерял свои очертания, и, не успев я направить резец, как блестящее пятно флянца исчезло из вида. Что-то под рукой щёлкнуло, и сзади раздался удар по листу железа. Задний защитный щит от удара упал на следующий станок, за которым работал Гаврила.

(Второй такой долговязый тип, наверное, на всей зоне. Если у Устина было два десяти, то Гаврила казался даже выше за счёт своей большой головы).

Он выключил станок, поставил щит на место и подошёл посмотреть, что случилось. Флянец, пролетая у меня под рукой, срезал болт, держащий ручку передней бабки, срезал, словно это была кремовая розочка. Мы разглядывали и поглаживали утопленный в металл остаток болта, серьёзно, с немым любопытством, как мальчишки – стреляную гильзу.

Мы с Петрухой возвращаемся с обеда. Вся рабочка завалена снегом, и от раскрытых дверей столовой веером протоптаны тропинки по цехам. Теперь, в сравнении со мной, Петруха выглядит свеженьким и чистеньким. Старая синяя роба, вся припорошенная голубой металлической крошкой, смотрится хорошо потёртой джинсой. На «игрушке» всегда тепло, и Петруха выскочил поесть в одном лепне и тапочках. Я же как из люка вылез. Чумазый, в телогрейке, роба так пропитана маслом, что лоснится и поблёскивает, как кожа.

Мы идём этой подтаившей тропинкой, как ходили зимой из столовой каждый день. И в этот раз, как и всегда, Петруха спросит: «Ну что ты такой кисляк смандячил?» А я буду жаловаться и ныть. Мол, выбиваюсь из сил, работаю в две смены, а эти чёртовы «железки» не даются. Ни черта не получается, даже норму, и ту через день делаю. А ведь честно хочу научиться, сосредотачиваюсь, как могу, у меня, мол, даже брошюрка имеется о токарном деле.

Петруха втягивает голову в плечи от холода и смеётся надо мной: «Может, тебе на гальванику пойти?» (работа ещё похлеще). Он издевается. Но без злости и напряжения. Видно, что ему спокойно и уютно рядом с моим мальчишеским сумасбродством.

Подходим к механичке. Там собралась куча народу, ворота распахнуты, и из них валит густой дым. Что-то горит. Обрадованный тем, что произошло нечто чрезвычайное, а значит, работа побоку, спрашиваю, что случилось.

– Да вот он, – заговорили все и принялись разглядывать меня, как только что разглядывали дым. – Иди к начальнику, он тебя ищет везде.

Вхожу в цех и вижу, как мой станок, словно паровоз, прибывающий на перрон, выдаёт из всех своих щелей и белые, и серые, и совсем уже катастрофически чёрные струйки дыма. В клубах этого дыма горланят и суматошатся «встречающие»: электрик, бригадир, начальник цеха. Все набрасываются на меня. Начальник, кстати, старший брат отрядника, тоже Быковский, тоже Алексеич, ведёт меня к себе в кабинет.

– Ты уже всех здесь достал, хватит, весь ремонт спишу на тебя.

– Да я-то тут при чём?

– Ты где был? Почему станок не выключил?

– Я выключил.

– Как же, выключил. Так, пиши объяснительную: ушёл с рабочего места и не выключил станок.

– Алексеич, да выключил я его, у нас обед был, откуда я знаю, что там произошло, с собой я этот станок буду носить?

– Резцы, аварии, брак гонишь, ты уже вот здесь у меня, всё, весь ремонт на тебя спишу...

Выхожу.

Петруха меня встречает до невозможности весёлый и довольный.

– Ну что?

– Да ну его, написал ему «самовозгорание». Как я забыл его выключить!

Петруха не переставал смотреть на меня насмешливо. Вся эта моя история с «механической» его здорово веселила. Особенно брошюрка о токарном деле.

Буквально на следующий день после пожара мы с Гаврилой разыграли немую сценку.

Голливуд, фирма «Кистоун», в ролях: Китон (это который «комик без улыбки») – конечно же Гаврила, он всегда был необыкновенно мрачен, и я – Чаплин, потому что такой же токарь, как Чаплин часовщик, боксёр и так далее.

Когда я в начале смены подошёл к своему станку, Гаврила уже работал. Его станок привычно тарахтел за моей спиной. Я зарядил опостылевшие флянцы, насадил пластину и тоже принялся работать. Через несколько минут после того, как я включил станок, откуда-то сзади повалил дым.

Это у Гаврилы что-то случилось со станком. Он выключил его и пошёл за электриком. Пока его не было, меня позвали чифирить. Постоял, поболтал, попил чаю, потом пошёл набрал из бочки ведро масла и притащил его к своему станку. Гаврила уже работал, не обращая на меня внимания. Я залил масло в чёрную дыру на поддоне и снова включил станок. Через несколько минут откуда-то сзади повалил дым.

У Гаврилы опять загорелся станок. Он, по-прежнему, не обращая на меня внимания, убежал за электриком. Я работал. Работал, работал, Гаврила с электриком что-то там копались, копались. Мне нужно было заточить резец, и я снова ушёл.

Наждак так и остался для меня «колесом Иезекиля» и «огненным вихрем Анаксимандра». То есть я так и не научился затачивать резцы и каждую смену ходил и просил кого-нибудь помочь. Таким образом, меня не было довольно долго, и, когда я вернулся, Гаврила спокойно точил свой флянец, видимо, разобравшись с поломкой. Я включил станок, и через несколько минут откуда-то сзади повалил дым.

Тут уже, отправляясь за электриком, Гаврила как-то задумчиво на меня посмотрел. Снова они копались, копались, а я работал и работал. Скоро привезли флянец, и я ушёл его

набирать. Приволок целую кучу флянца, ссыпал его возле станка и краем глаза заметил, что Гаврила опять один, работает, но теперь как-то странно на меня смотрит.

Я включил станок, и через несколько минут откуда-то сзади повалил дым.

Получалось, что Гаврилин станок загорался ровно через несколько минут после моего появления. Теперь уже мы вдвоём пошли за электриком.

Мы пошли за ним, как за священнослужителем для изгнания нечистой силы.

Аникей из восьмого отряда был моим сменщиком, вторым человеком, работающим на этом станке. Вид он имел настоящего урки и напоминал мне Спицу. Все мы ходили лысыми. Он был как-то по особенному подчёркнуто лыс: низкий лоб, острые, торчащие уши, скулы, впалые щёки и неизменная круглосуточная улыбка, злобная и сверкающая золотыми зубами (этот тюремный смех, я думаю атавизм..У обезьян, например, то, что мы называем улыбкой, является проявлением агрессии и демонстрацией зубов). Он сидел уже больше десяти лет, его все знали, уважали, и ему многое сходило с рук.

Я часто видел, как бригада механички восьмого отряда выходит на работу: впереди кучкой прилежные работяги, сзади Аникей. Востроухий. Изогнул, как стервятник, шею, оскалился на все стороны и балагурит со встречными ментами. У вахты, перед распахнутыми воротами на рабочку, стоят два лейтенантика из ОТК. Совсем молодые, неловкие ребята. «Здорово, девчонки!» – кричит им Аникей, и они действительно, как две девочки, тушуются.

Водолаза он замучил до дрожи в коленках. Был у них в восьмом такой бригадир механички, пучеглазый, маленький человечек с патологической зависимостью от администрации. Практически штатный, официальный стукач, чьё рвение воспринималось уже просто психическим заболеванием как с той, так и с этой стороны. Говорят, опера гнали его с вахты, устав от мелочных и нескончаемых доносов.

Водолаза Аникей гонял пинками, рычал на него: «Ща ебубу», и Водолаз взвизгивал, и красная пучеглазость его наполнялась слезами. Однажды, где-то на складе в цеху, Аникей снял с него штаны «Ща ебубу»: «Кому сегодня стучал? Кого сегодня сдавал?». Водолаз орал как резаный но, оставаясь верным идее и преданным любимой администрации, тайны не выдал.

Естественно, всё это несерьёзно, ради прикола и Водолаз, зареванный и дрожащий, приносил своему мучителю пластины, рукавички, звал его чифирить, называя ласково по имени и подобострастно расспрашивая о пустяках.

Единственное, что не вязалось с образом Аникея, так это то, что он жил мужиком, работал на механичке, считался хорошим токарем и выдавал каждый день по полторы нормы. Но так было (рассказывали, что раньше он был блатным, мне об этом ничего не известно).

Многие годы он холил и лелеял свой станок. За несколько недель я превратил его в чёрт знает что. Я чувствовал себя рохлей и почти вандалом. Всю зиму жил в страхе перед разговором с Аникеем. Мне говорили: «Аникей хочет с тобой побазарить», «Аникей спустится к тебе в отряд», я сам, после очередного взрыва, думал: «Ну всё. Аникей меня убьёт», но ничего

не происходило. В тот период я, дай Бог, раза два с ним поздоровался. Теперь я думаю, что вопреки своей рабочей репутации и, наверное, благодаря блатному прошлому Аникей был даже рад иметь такого сменщика, как я.

Иногда на станке я находил от него записки: «Убери станок», «Залей масло», «Почисти патрон». Последняя прекрасно запомнилась.

Я снял патрон, разобрал его и принялся чистить и мыть кулачки. Но, когда я его собрал, не без чужой помощи, конечно, он вдруг оказался сломанным. Неотцентрованным, каким-то покарёженным, кулачки не сходились, как полагается, слесаря, мне помогавшие лишь разводили руками и предлагали забрать его в ремонт дня на два. Так и вышло. И сейчас, мне кажется, Аникей знал об этом заранее. Заподозрил что-то в патроне или сам его долбанул и написал мне записку, зная, что после того, как разберу его я, никто не удивится, что патрон оказался непригодным.

Вот такая картинка.

По единственной протоптанной борозде в снегу я пробегаю сектор, откусывая на ходу горбушку хлеба. Вхожу в здание. В коротком коридорчике слева – большая дверь петушатника, на метлахской плитке жёлто-чёрная грязь и слякоть от нанесённого снега, а впереди умывальник с ржавыми кранами над облупленным жёлобом. Громко топаю, стряхиваю снег, вызывая брызги слякоти и эхо в умывальнике. Забегаю в него и ныряю в маленький проём, ведущий в туалет. Там такой же жёлоб, только ниже и без кранов, а напротив «подиум» из красной плитки с рядом пробоев, изманных говном и заваленных ворохом бумаг. Над жёлобом стоит несколько человек, я пристраиваюсь и отливаю, запрокинув голову, шумно дыша носом, с кляпом из горбушки хлеба во рту.

В то время я читал «Римскую историю» Момзена. Мне нравилось про пунические войны, переход Ганнибала через Перенеи, но в голове оставались одни фразы: «Народная масса была безнравственна и привыкла продавать свои голоса» или «Все слоны погибли от сырости и холода».

На днях Петруха рассказал, что, вернувшись из армии, переспал со своей первой любовью. До этого, мол, мучился, любил, а тут вдруг полегчало.

Через час надо будет выходить на работу. Может, хоть на этот раз удастся ничего не сломать и выполнить норму.

Заполненный этой всячиной, я застегнул штаны, закрыл дверь и уже было выбежал из умывальника, как услышал позади чей-то возглас. Я очнулся и понял, что влип.

Из умывальника выходил Комар, блатной восьмого отряда. Маленький и шупленький, как ребёнок. На нём мешком сидела роба, и на детской ручонке болтались огромные чётки. Лицо искривилось азартной ухмылкой: «Эй, биздюк, ну-ка подойти сюда, – он повнимательней рассмотрел то, что его заинтересовало: – А ну пошли, вот тебе раз, вот писдюки забурели»

Я уже всё понял и внутренне стал похож на тот подиум из красной плитки, только что мной виденный. Испугался страшно.

Комар завёл меня в каптёрку: «Чё это у тебя в руке, ты чё, вот так съешь и хаваешь одновременно, вот так балду подержал и поел, может, мою подержишь, тебе же, я смотрю, всё равно, ты по ходу привык так, что тюха в руке, что балда чья-нибудь, всё в рот тянешь, да?» – и так дальше. Комар наворачивал, наворачивал, пристально вглядываясь в меня и пытаюсь понять, сколько я проглочу и насколько перспективен, как жертва. Тут надо было, как говорили, «откусываться», и я что-то такое промямлил, но Комар знал своё дело: «Кто гонит? Ты чё, пидюк, совсем берегов не видишь?» – и я получаю удар в челюсть.

Передо мной стоял маленький человечек, удар его был похож на женскую пощёчину, а я струсил, стерпел, рассудив (с перепугу, конечно), что если ввязаться в драку, то разборок не миновать, и я с этим хлебом, естественно, окажусь крайним. А так, может, и пронесёт.

И пронесло. Комар, к моему удивлению, вдруг заосторожничал, сбавил обороты и постепенно переходил к более мягким назидательным интонациям. Словно сам испугался. То ли собственной прыти, то ли моего вида (ха, ха, хотелось бы думать).

Комар исчез. Как будто и не было. Монте-Кристо, выдернутый из тёплого каземата и высеченный прилюдно, сидел в каптёрке и держал в руке кусок хлеба.

Весь день я точил флянец, как автомат, с остекленевшим взглядом. Всё думал. С одной стороны, я желал себе разных неприятностей в наказание за трусость, с другой – прикидывал, какими они могут быть и как их избежать. К вечеру Петруха, укутавшись в телогрейку, спустился с «игрушки». На фоне гари и ржавчины механички, он чистеньким, голубым пятном возник у моего станка и закивал на выход. Обычно в конце смены мы прогуливались на улице, ходили взад-вперёд вдоль длинной стены, отделяющей рабочку от жилой секции. Я рассказал всё, и Петруха остановился. Вся ирония с него сошла, и он испуганно на меня посмотрел: «Ну ты и скосячил!». Вновь заходил. Молчал довольно долго. Я попытался его развеселить: «Да ладно, Петруха, ничего не будет» – вышло почти что трагически.

Так прошёл вечер и весь следующий день. И только тогда Петруха подытожил: «Считай, что повезло, имели бы что-нибудь, давно подтянули»

К двенадцати часам ночи все станки замолкали, и народ бродил по проходу в ожидании «съёма» («Съём» – вывод с работы. Топчешься перед закрытыми дверями в душ, потом перед закрытыми дверями из душа – целое дело.) Мы с Гаврилой и ещё несколько человек, разбросанных по цеху, всегда оставались в ночь. Я, понятно, ничего не успеваю за смену, а Гаврила расправляясь со временем, которым нас наказали. Прервав работу, пересменок мы проводили на «завалинке» за куревом, чифиром и болтовнёй.

Выглядел, надо сказать, Гаврила чудовищно. Наверное, всегда так, но тогда особенно. При своём росте он был неестественно худым и производил впечатление неживого человекообразного механизма. Нельзя было сказать, что он ходит или садится, скорее, передвигается, складывается, двигает коленными, бедренными и прочими суставами. Никак не бёдрами и ногами. Эти самые суставы торчали отовсюду под материей, натянутой на остов, и были

такими огромными, что я невольно пялился на них, как на оживающие камни. Таким же огромным было и Гаврилино лицо. Большие надбровные дуги над глубоко посаженными глазами! Морщины на лбу и носогубные складки как грубые сварочные швы. И можно было сколько угодно смеяться, улыбаться, корчить рожицы в это лицо, оно неизменно сохраняло своё похоронное выражение. Я что-нибудь ляпну, реплику смешную подам, Гаврила печально подождёт, пока я сам же отсмеюсь, и продолжит рассказ. Не проймёшь ничем.

А рассказывал он мне, помню, о том, каким был болезненным в детстве. Диатезы, рахит, дистрофия, постоянные воспаления лёгких – кошмарный сон, а не детство, светлой надеждой в котором неожиданно явилась одна книга. Некий Амстронг: «Уринотерапия». Тут Гаврила нависал и начинал говорить почти шёпотом.

Как видно из моего предыдущего рассказа, мы в этом смысле находились не в трудовом, а в санитарно-исправительном учреждении, поэтому Гаврила местами замолкал, пропускал момент самолечения и продолжал уже о том, как начинал помогать другим. Успешно. Стал известным в среде. Прекрасным примером и учителем для несведущих. Как-то его порекомендовали одной женщине, чьё уже августовское цветение омрачала кожная болезнь. Гаврила пришёл, сказал, что надо пить, и женщина взвилась от возмущения. Я даже помню, как это передал Гаврила: «Знаете, что, молодой человек, я, слава Богу, в своём уме и не в том возрасте, чтобы заниматься такими глупостями».

Но Гаврила не ушёл. Он понял, что без него пациентка не станет лечиться. И предложил своё наблюдение. Я уж не знаю, каким (должно быть, как и мне, поведал историю своего детства), но каким-то образом он остался у неё на правах лечащего врача. Банки с мочой заполнили квартиру женщины августовского цветения. По всем правилам Амстронга и под руководством Гаврилы она их отстаивала до аммиачного осадка и выпивала, от чего стала покрываться прыщами и язвами. Был момент истерии, отчаяния, но лечение, по настоянию Гаврилы, не прерывалось. Постепенно язвы исчезли. Вместе с ними исчезло и исходное заболевание.

Мы вынимали из-под задниц рукавички, на которых сидели, и расходились точить флянец. Наши станки скрежетом расправлялись с тишиной механички. Даже для эха не оставалось места.

Если в цех входила комиссия, обыкновенно в разгар рабочего дня – будь то менты из Управления, производственники с кировского завода или начальник ОТК Березенко, как-то вскользь мной упомянутый – степенную эту пузатую компанию непременно сопровождал зек. И это всегда был один человек. Он шёл чуть впереди, заискивающе что-то говорил, жестиковать и взрывался неадекватным хохотом на вельможные шуточки.

Кто-то должен был ходить на заготовки для рабочих смен, так как все шныри работали только на «жилой». И эта обязанность лежала на этом человеке. Очень серьёзно, с выражением крайней занятости, он семеня мелкими шажками сквозь цех, возвращался через полчаса, орал в громяющее пространство, и его мясистое лицо тряслось от напряжения.

Заменять при необходимости бригадира или кладовщика, решать мелкие проблемы с начальником цеха, принимать детали, переставлять с места на место станки – всё приходилось делать ему. Целый день он мельтешил по цеху. Отовсюду были слышны его крики и смех.

Но главное – эти фразочки, как правило, восторженные или истеричные, которые всех так веселили.

– Дюму (именно «У») не превзошёл никто! – как-то услышал я с противоположного конца столовой. Крик, затем всеобщее ржание, и я увидел этого человека, бегущего между рядов, с красным лицом от только что перенесённого катарсиса.

Человека звали Рома Готов.

Он был из восьмого отряда, кем-то числился на механичке, и им затыкали бреши повседневного уклада все, кому не лень. Менты использовали его на заготовках, заменах, посылках, зеки что-то через него доставали, и при этом никто серьёзно его не воспринимал. Я не знаю, не замечал ли он этого, не знал или не хотел знать. Но в шквале насмешек, упрёков, будучи всегда и всем должен, Рома, и это, пожалуй, одна из отличительных его черт, чувствовал себя превосходно. Восстанавливался молниеносно. Естественно, при такой жизни многие обещания он не выполнял, и порой на него наезжали, обкладывали матом, а могли и приложиться, так сказать, закулисно, по-свойски. Но это не действовало. Только что выглядевший потерянным и всклокоченным, Рома через несколько минут раздражался очередным патетическим восклицанием из другого места. И, конечно же, оттуда доносился гогот окружающих.

Смеялись главным образом над его манерой. Он говорил, как экзальтированная поклонница, почитательница. Вбаламошная, восторженная и готовая умереть за своих кумиров. За Элизабет Тейлор, например. Это была женщина мечты Ромы Готова.

Как-то раз в восьмом отряде из его проходняка раздался звериный вопль. «Кто, что, как они могли!!!» – Рома тряс перед нами газетным листом. Пунцовый, трясущийся, он негодовал, но даже при этом выдерживал какой-то неестественный девчоночий пафос: – «Они завернули в неё рыбу!!! Рыбу!!! В Элизабет Тейлор!!! Рыбу!!! Быдло! Это уму непостижимо! Она богиня!» – он разглаживал заляпанную статью про Элизабет.

Ещё он был напичкан цитатами из советского кино. Целые куски знал просто наизусть. «Двенадцать мгновений весны», «Три мушкетёра», «Собака на сене». Боярский, Терехова вызывали в нём трепет. Стоило лишь произнести: «Эй, вы, грешники Ваала! Киньте мученицу львам...» – и Рома, как верная подружка, расплывался, пристраивался и мечтательно предавался воспоминаниям: как она это говорила, с какими интонациями, каким придыханием. В эти моменты он казался настоящей женщиной, восторженной, трогательной.

Под стать ему были и пристрастия к театральным эффектам: уйти незамеченным, возникнуть внезапно, сказать глубокомысленно. Он подбегал к моему станку и говорил: «Тот, кто не был в тюрьме, не может называть себя человеком», – вот так ни с того ни с сего говорил, потом поднимал палец и со значением называл автора: «Махатма Ганди» – и убегал. С уверенностью можно было сказать, что он это поймал на лету. Только что. Где-то между механичкой и столовой.

В одном из углов цеха, сразу справа от ворот, угол, в котором я провёл уйму времени и который вспоминаю, как иной вспоминает свою школьную парту, были приварены брусья и турник и свалены разные железки, негодные детали. Мы занимались там с Пепсом почти каждый день, чем притягивали любопытствующих. Особенно, когда Пепс позволял себя избивать, оттачивая приёмы защиты. Захаживал туда и Рома. Он что-то потешно показывал, пружиня и подпрыгивая на своих «окорочках»

(Несмотря на девичью организацию, сложен был Рома, как ломовой извозчик. Щекастое лицо с заячьими зубами, сразу бросающиеся в глаза огромные ноги. Он занимался велосипедным спортом, и бедренные мышцы у него были невероятно развиты. Ходил коленями наружу, подпрыгивая и переваливаясь с боку на бок)

...а иногда принимал выражение шаолиньского мастера и пытался что-то подкорректировать у Пепса. Пепс криво улыбался и со спокойным умилением ждал, когда он уйдёт.

Показательно, что Пепс, обычно чуткий к таким вещам и раздражающийся на всякие понты, воспринимал Рому как ребёнка. Бывало, правда, шугал. Шутя. Рома взвизгивал и убегал, исторгая из своего мясистого тела цветастые фразы.

Всё же большей частью Рома восхищался. Он был склонен к восхищению и во всём мог увидеть нечто незаурядное, необыкновенное и достойное его всплесков. Мы были не исключение. На каждом углу он называл Пепса «великим бойцом», меня, не долго думая, отчислил к «философам тюрьмы», а уже разговаривая с нами, наделял не менее высокопарными эпитетами других своих приятелей. В общем, всем и про всех знакомых он мог говорить с такой же интонацией и воодушевлением, как и про Дюм (У), Ганди и прочих.

По-моему, я какое-то время и не догадывался, что Еврей, тихий интеллигентный уборщик с механички, – подельник Ромы. Так, чтобы подельники сидели вместе, встречалось не часто, а эти двое ещё и держались абсолютно независимо и были такими разными, что мысль о том, что сдержанный, рафинированный эрудит Еврей и шумный выскочка Рома Готов – друзья детства, мне не пришла бы в голову. Но Рома кое-что рассказывал о нём. Немного. Восхищаясь тем, как рано у его друга пробудилось политическое сознание, он вспоминал его выходки. Выходил в трусах, например, на улицу и выкрикивал антисоветские лозунги. В окно выбрасывал сковородки, тоже выкрикивая что-то против режима. Вспоминал, как они достали оружие, что-то пытались ограбить, их обложили в подвале, и с этим были связаны браваурные голливудские реплики, которые казались теперь смешными.

Романтичным был эпизод, где они переговариваются у следователя. Каждый самоотверженно хочет взять вину на себя. Убеждают, кричат друг на друга, благородно не соглашаются друг с другом, и в итоге, рассорившись в пух и прах, идут по делу вдвоём.

Это проливало какой-то свет на их дружбу. Хотя представить, что Еврей мог быть таким, было непросто. Мне он виделся рассудочным, осторожным и замкнутым. Найдя лазейку, он устроился на спокойную нетяжёлую работу. Убирал себе стружку на механичке, избавленный от производственно-исправительной суеты. Прогуливался по цеху один, заправив штанины брюк в носки, и курил сломанные сигареты через мундштук. Все эти еврейские прибаамбахи, видимо, и сбивали с толку. Сублинный, вежливый, с тихим голосом, скорбным выражением и еврейскими глазами, нижнее мешковатое веко которых придавало им некую двусмысленность. Это такое веко, в котором спрятаны мистические знания, списки масонских лож и экономические расчёты.

О его прижимистости ходили легенды. Он разламывал сигареты напополам, и часть этих кусочков брал с собой на работу. Когда ему об этом говорили, он стыдливо улыбался, пытался

раскрыть полностью глаза и преподнести это как нечто совершенно нормальное и обыденное. По его расчётам (по тем самым расчётам нижнего века) выходило, что он здорово на этой процедуре выигрывает.

Ещё он страдал геммороем, совершенно этого не скрывал (я бы даже сказал, что гемморой придавал Еврею, двадцатитрёх-четырёхлетнему парню, недостающей солидности), поэтому был вынужден беспокоиться о наличии туалетной бумаги и, естественно, над ней трясся. В разное время и с разными людьми разделяя хозяйство, он очень негодовал, если кто-то неэкономно расходовал его рулончик. С этой бумагой связана одна историческая фраза, которую потом повторяли практически как народную мудрость. Когда очередной семейник Еврея полез в его тумбочку за туалетной бумагой, Еврей его спросил: «Ты же уже ходил сегодня?» На что тот ответил: «Ну и что? Я ещё хочу». Еврей не выдержал и раздражённо, глядя, как разматывают его рулон, произнёс:

– Срать два раза в день – глупо!

Еврей крутился с кладовщиком, (кладовщика я плохо помню) и больше никого к себе не подпускал. Несколько раз я пытался с ним подружиться, но мы буквально перекинулись двумя-тремя словами, и на этом всё. Сейчас, через столько лет, оглядываясь, мне кажется, что Еврей, тяготившийся окружением, что-то предчувствовал. Как будто ждал появления кого-то, знал, что придёт такой человек, и делал на него ставку.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.